

Собачья смерть

Автор:

[Борис Акунин](#)

Собачья смерть

Борис Акунин

Григорий Шалвович Чхартишвили

Семейный альбом #6

Москва середины шестидесятых годов. Время «хрущевской оттепели». Только что вышла заключительная часть «Мастера и Маргариты» Булгакова. В воздухе веет свободой и надеждой на жизнь без лжи, лицемерия и страха. Известный писатель Марат Рогачов, чья семья, как и тысячи других российских семей стала жертвой Большого террора, знакомится с давним другом своего погибшего отца – Антоном Марковичем Клобуковым, и эта встреча навсегда меняет его жизнь.

Акунин-Чхартишвили

Собачья смерть

Текст печатается в авторских редакции, орфографии и пунктуации

© Akunin-Chkhartishvili, 2023

© «Захаров», 2023

* * *

Украденное

Из Книги Первой

«Мы все хотим жить. Большинство из нас руководствуется этим желанием в своих поступках. Но продолжать жить, если ты не достиг поставленной цели – малодушие. Это стыдно. Если ты погибаешь, не достигнув цели, без пользы и смысла, это собачья смерть. Но это нестыдная смерть».

Хо!!! Собачья смерть! Вот откуда это! Как это – собачья, но не стыдная? Какую ценность имеет что-то, лишенное смысла? Я всегда думал, что жить и тем более умирать без смысла глупо. Получается, что ум стыднее глупости? Про это нужно подумать.

«Обладать только умом и талантом, а более ничем – это самая низшая категория людей, которые чего-то стоят».

Еще и талант туда же, вместе с умом? Умный, талантливый человек у нас считается выдающимся, иногда даже великим, все окружающие перед таким преклоняются, а, если в тебе кроме ума и таланта больше ничего нет, это «самая низшая категория»?

«Люди думают, что можно разобраться в сложных материях, если как следует поломать над ними голову, но ум извращает суть, ибо всегда руководствуется выгодой, и ни к чему хорошему это не приводит».

Хм. Это, пожалуй, про меня. Уж мне ли не знать, как мало хорошего приносит выгода? Усвоить бы это лет на двадцать раньше. Хотя я вряд ли бы тогда понял.

Вот пассаж, который стоит выписать целиком.

«Некий мастер меча, достигнув преклонных лет, сказал: «Поиск Пути состоит из этапов. На первом, нижнем уровне из учебы ничего не выходит и человек считает, что он хуже других. Он и в самом деле никчем. На втором, среднем уровне человек по-прежнему никчем, но теперь он считает, что и другие несовершенны. На третьем, высшем уровне человек обладает познаниями, гордится ими и скорбит из-за несовершенства других, но держится скромно, не выпячивая своих достоинств. Только тут человек обретает ценность.

Но есть еще один уровень, наивысший – когда человек осознает, что Путь бесконечен и что ты никогда не достигнешь на нем совершенства. Человек знает свои недостатки и никогда не удовлетворяется достигнутым. Он знает, что по Пути дальше пройдет тот, кто безжалостен к себе. Мастер Ягю однажды изрек: «Я не знаю, как побеждать других, но я знаю, как побеждать себя». Всю жизнь, каждый день двигайся вперед и становись искусней, чем был вчера. Никогда не останавливайся».

Побеждать себя? Но побеждают врага, а не того, кого любишь. Не любить себя, считать главным врагом самого себя – в этом ключ.

А еще врагу, настоящему врагу, желают смерти. Где-то в другом месте, сейчас не найду, у него написано, что правильно и красиво убить врага – это целое искусство, и уважающий себя человек никогда не унизит себя неряшливым убийством.

«На стене у господина Наосигэ висел свиток с изречением: «К важным вещам относись легко». Мастер Иттэй сказал по этому поводу: «А к неважным вещам

относись серьезно».

Если вдуматься, это совсем не парадокс а-ля Оскар Уайльд, а совершенно трезвый, практический совет. Действительно: самые важные решения, которые определяют весь ход жизни, нужно принимать не умом, а сердцем. Если оно к чему-то не лежит, рациональные доводы пусть заткнутся. Но на уровне не стратегическом, а тактическом, в повседневной жизни, разумеется, следует всё тщательно обдумывать, чтобы избежать глупых ошибок.

«В любой скверной ситуации уйти от позора очень легко. Достаточно умереть».

Я люблю этого парня! В самом деле – что может быть легче?

«У ливня есть чему поучиться. Когда он застаёт человека на улице, тот несется со всех ног, лишь бы не промокнуть. И всё равно промокает. Но если ты готов промокнуть, ты не бежишь, а идешь спокойно. Ты промокаешь, но не теряешь достоинства. И так во всём».

Я готов промокнуть? Да, готов. Буду учиться у ливня.

«Расчетливые люди вызывают презрение. Расчет всегда основывается на том, чтобы по возможности избежать потерь и обрести выгоду. При этом смерть считается потерей, а сохранение жизни – выгодой. Человек, не любящий смерти, заслуживает презрения».

Тогда мало кто не презренен. Кроме суицидальных маньяков – все. Он имеет в виду, видимо, вот что. Любовь к смерти – это не суицидальность. Это когда движешься по дороге жизни к некоей сияющей над горизонтом звезде. Чего ее бояться? Она прекрасна, ты в нее влюблен, но бежать к ней необязательно, она никуда не денется. Ночь длинная, длиннее твоей жизни.

«В старину говорили, что всякое решение следует принимать не долее, чем за семь вдохов и выдохов. Господин Таканобу однажды сказал: «Слишком долгое

рассуждение всё портит».

Теперь при всяком колебании буду считать выдохи и на седьмом говорить себе: “Fais ton jeux”[1 - «Делай свою ставку» (фр.)].

«Добиться можно всего на свете. Человек, преисполненный решимости, способен перевернуть небо и землю».

Вот девиз, который следовало бы вытатуировать на груди. В минуту слабости расстегивал бы перед зеркалом рубашку и напоминал себе об этом.

«Не существует ничего кроме поставленной в данное мгновение цели. Вся жизнь – череда мгновений. Если ты полностью отдаешься каждому из них, никаких других целей для тебя нет. Жить – значит хранить верность мгновению».

В этом суть, но с важной поправкой. Храня верность мгновению, не забывать, что мгновения складываются в День – как в шансонетке (не помню точно по-французски): «Что наша жизнь? Лишь день единый от bon matin до bon nuit[2 - От «доброго утра» до «спокойной ночи» (фр.)]». У Дня тоже должна быть своя Цель. Иначе всё не имеет смысла. Верность Мгновению – тактика. Верность Дню – стратегия.

«До сорока лет следует набирать силу. К пятидесяти годам надлежит определиться, на что ее потратить».

Как раз мой возраст. Всё сходится.

«Если ты погибаешь в сражении, позаботься о том, чтобы твой труп упал лицом к врагу».

Ну, если всё плохо закончится, об этом позаботятся другие. Расстреливают ведь перед строем. В затылок стрелять себе не позволю.

Из Книги Десятой

«На могиле великого человека высечено стихотворение:

Не читай молитв,

А чты Путь Искренности,

И боги – с тобой.

И вот некто спросил самурая: «Что такое Путь Искренности?». Самурай ответил: «Если уж тебе нравится поэзия, я отвечу стихотворением:

Вся наша жизнь – фарс.

Искренность только в смерти.

Живи как мертвец».

Мне кажется, я догадываюсь, что? имел в виду самурай под словами «живи как мертвец». Надо читать свою жизнь, как биографическую статью в энциклопедии: тогда-то родился, сделал то-то, умер тогда-то. Если ты все равно уже умер и занесен в книгу, какой смысл суетиться и малодушничать? Это и значит «жить как мертвец». Даты уже проставлены, но то, что будет написано между ними, зависит только от тебя.

Но что имеется в виду под «Путем Искренности»?

Бактриан

После похорон должна была состояться гражданская панихида в ЦДЛ, но Марат не поехал. Слушать речи про тяжелую утрату, которую понесла многонациональная советская литература, про «навек умолкший негромкий и чистый голос одухотворенного певца социалистического лиризма» (цитата из некролога), а потом смотреть, как все не чокаясь пьют водку?

Одухотворенности в покойнике было не много. Пожалуй, вовсе не было. Осторожный, расчетливый, многослойный, как луковица, человек, благополучно прошедший через все «непростые времена» без неприятностей, да еще, чудо из чудес, с незапятнанной репутацией. Умудрился ни разу не выступить на людоедских собраниях, ничего кроважадного никогда не подписывал, вождей в своей прозе не славословил – в повестях и рассказах про тихую красу родной природы это вроде как и не предполагалось. Мало кому в том злосчастном поколении удалось проскользнуть между струями ядовитого дождя не замочившись. Может быть, только одному Кондратию Григорьевичу. Заглазное прозвище в Союзе писателей у него было «Колобок». Он про это знал и однажды сказал Марату: «Обижают меня коллеги. Недоценивают. Колобок только от бабушки и дедушки ушел, лиса-то его слопала. Я не Колобок, я – старая дева, прожившая жизнь в борделе, но оставшаяся целкой». В частных разговорах Кондратий Григорьевич бывал циничен, совсем не таков, как на публике. Но старик понимал литературу. И дал бесценный совет, после которого Марат превратился из курицы в настоящую птицу – оторвался от земли, взлетел. Аркан говорит, у японцев есть понятие «онси» – Учитель, благодарность к которому сохраняешь на всю жизнь. Таким вот онси стал для Марата и старый циник.

Прошлой осенью они с Кондратием Григорьевичем по чистой случайности оказались в одном купе «Красной стрелы». Был юбилейный год, пятидесятилетие Октября, делегация московского СП выехала в Ленинград на очередное торжественное заседание, и Марату на волне успеха «Чистых рук» досталось место в мягком вагоне, рядом с классиком. Поезд был ночной, обоим не спалось, разговорились.

Уже под утро Кондратий Григорьевич спросил, вдруг перейдя на «ты», что Марата, вообще-то не выносившего фамильярности, нисколько не покорило – все-таки тридцать с лишним лет разницы:

– Как по-твоему, я не совсем говеный писатель? Только честно. Нет, так ты правды не скажешь. Сформулирую иначе: если что-то в моей прозе тебе нравится, то что именно? Как бы ты это определил? Если ответишь «любовь к

родной природе», я тебе сейчас вот этой бутылкой тресну по башке.

(Он попивал коньяк, к которому Марат не притрагивался, ограничивался чаем.)

Ответил честно – что думал на самом деле:

– В ваших рассказах ощущается нечто... неуловимое, ускользающее, чего не можешь ухватить, но это и примагничивает. Даже не знаю, как вам это удастся.

– Садись, пятерка, – грустно усмехнулся старик. – Я тебе расскажу, как мне это удастся. Если бы оно мне похуже удавалось, я был бы не «видный представитель советской литературы», а настоящий писатель... Сначала я пишу текст безо всяких тормозов – как просит душа. Потом беру и вырезаю оттуда всё непроходимое. Зияющие раны зашиваю. Вместо ампутированных конечностей присобачиваю протезы. Получается инвалид, калека на костылях. Но отсеченная живая ткань всё равно угадывается, остаются фантомные боли, и читатель на них реагирует. Ты, Марат, пишешь хреново, уж не обижайся, я читал. Но что-то в тебе есть. Нерасчетливость? Нешкурность? Мне кажется – а я в таких вещах редко ошибаюсь, – ты можешь писать намного лучше. Но запомни самую важную штуку. Не создавай врожденных инвалидов, которые уже появляются на свет без руки или без ноги. Пишешь – пиши на всю катушку. Не кастрируй себя заранее. Сделай и роди здорового ребенка. А уже потом, с рыданиями, с болью, приспособляй его к реальности. Режь, кромсай, пересаживай кожу. Внутренняя сила, энергетика вся не уйдет, что-то да останется. А еще останется оригинал. Рукопись – ту, нераскромсанную – спрячь поглубже. Я свои настоящие, изначальные тексты берегу. Во всяком случае, последние лет пятнадцать, раньше-то боялся. Может быть, полвека или век спустя люди прочитают и скажут: «Вот он, оказывается, какой писатель был, на самом-то деле». Рукописи не горят – слышал?

И они заговорили о том, что тогда обсуждали все – о «Мастере и Маргарите». Как раз в журнале «Москва» вышла последняя, третья часть. Перед тем роман печатался в двух номерах, а потом публикация прервалась, и все волновались – пропустят концовку или не пропустят. Через номер все-таки напечатали. Михаил Булгаков, полузабытый автор второго ряда, вдруг поднялся над советской литературой, будто Гулливер над страной лилипутов.

Метод Кондратия Григорьевича был простой, но раньше такая идея Марату в голову не приходила. Ну вроде как если вышел на футбольное поле, то заранее знаешь, что мяч руками хватать нельзя – заработаешь пенальти. А что если отнестись к литературе как к игре без правил? Или установить правила самому? В порядке эксперимента. Просто посмотреть, что получится.

Так он написал «Воскресную поездку». Полный текст оставил в столе. Явно непроходное сократил. Отнес вычищенный вариант Кондратию Григорьевичу. Тот прочитал, сказал: «Ага, старого пса нюх не подвел. Ты все-таки писатель». Старик убрал по мелочам еще кое-что, сам отвез рукопись в «Юность», главреду Полевому, своему бывшему ученику. Маленькую повесть поставили в номер вне очереди.

И с Маратом приключилось второе чудо за год. Сначала на него, как из рога изобилия, полились материальные блага за сценарий телефильма, а теперь пришла еще и литературная известность, да не такая, как в пятьдесят втором, не лауреатская, а самого лестного свойства – в своем писательском цехе, среди людей по-настоящему талантливых. Дерзкие и победительные властители дум, «капитаны свежего ветра» (так называлось программное стихотворение эпохи), раньше не замечавшие Марата, теперь звали его в гости, разговаривали как со своим. Один из лидеров «новой волны», язвительный Гривас, шутливо называл его сталинским лауреатом-расстригой и звездой позднего реабилитанса.

Люди делятся на уйму всяческих бинарностей. В том числе на относящихся к жизни легко или тяжело. Марат принадлежал ко второй категории, притом к ее высшей лиге. Он был тяжел, как нагруженная булыжниками телега, и тащился по жизненным ухабам со скрипом, лязгом и вихлянием колес. Легким людям всегда завидовал, но утешал себя тем, что они не становятся хорошими писателями. Во всяком случае в России. Даже Гоголь начинал легко, а закончил тяжелым психическим расстройством. То же и Пушкин. Последнее его стихотворение – про чижику, забывшего и рощу, и свободу. Страна с тяжелым воздухом давит на человека, пригибает к земле. Распрячься, тем более взлететь здесь трудно. Сгореть в плотных слоях атмосферы – самая обычная для русского писателя судьба. Но русская литература не стала бы тем, чем она стала, если бы ей не пришлось тратить столько сил на прорыв сквозь вязкий воздух. Борьба порождает энергию, которая давала свет и тепло.

Марат всегда писал трудно, по много раз переделывал, откладывал, падал духом, начинал заново. Он был уверен, что только так и можно, только так и

нужно. Садясь утром к письменному столу, ритуально приветствовал сам себя серапионовским: «Здравствуй, брат, писать очень трудно».

А оказалось – нет. «Воскресная поездка» пришла быстро и легко, словно сама собой. Машинка трещала, как ручной пулемет, каретка порхала туда-сюда. Большой роман, который Марат сейчас писал по тому же методу, без внутренней цензуры, тоже летел сам, поднимая за собой автора, словно продавца воздушных шаров у Олеси. Засиживаясь за столом до глубокой ночи, Марат выходил на балкон покурить, смотрел в черное небо, и ему казалось, что он несется где-то там, под облаками, ударяясь о шпильки московских высоток.

Роман получался черт знает какой, без руля и без ветрил. Днем, в трезвые минуты, делалось совершенно ясно, что его потом не отредактируешь – вообще ничего не останется. Или засовывай поглубже в стол, навечно, или переправляй за границу, для анонимной публикации. Но после истории с Синявским и Даниэлем это страшновато.

Мысли о том, что делать потом, Марат от себя гнал. От них роман сразу тяжелел, его полет замедлялся. Потом суп с котом. Допишем – решим.

Обычно Марат мучительно, несколько месяцев, а то и год-другой размышлял, о чем будет следующее произведение. Оно долго пряталось, потом неохотно выплывало, будто сом из омута, и тут же норовило уйти назад, на глубину. А этот роман выскочил, как чертик из табакерки. Только что ничего не было – и вдруг пространство взвихрилось, уплотнилось, там замелькали быстро увеличивающиеся точки, превратились в город, послышались голоса, и невесть откуда возникло худощавое лицо с хрящеватым носом. Человек рванулся с места, побежал за отходящим трамваем...

К этому времени Марат уже несколько дней испытывал странное ощущение – будто какой-то микроскопический скворец постукивал клювом в висок. Началось всё с нескольких страничек, исписанных торопливым и неряшливым почерком, очень-очень мелко.

Сидел в архиве Комитета Государственной Безопасности, просматривал документы и следственные материалы по делу Сиднея Рейли. В папке «Предметы, изъятые при обыске в Шереметевском переулке, дом № 3, 3 сент. 1918 г.» среди прочего был путеводитель «Московские улицы», ничего

примечательного. Марат больше заинтересовался газетой, в которую книжка была обернута.

Номер петроградской «Копейки» – теперь гораздо бо?льшая редкость, чем сытинский путеводитель. Застывший стоп-кадр канувшего времени. Подобные соприкосновения с прошлым Марата всегда волновали. Он бережно снял обертку, развернул желтую, высохшую страницу, чтоб почитать питерские новости полувековой давности – и вдруг на стол выпали листки блокнота. В описи они не упоминались: просто «Московские улицы», и всё. В 1918 году чекисты работали еще по-дилетантски. Дознаватель не додумался заглянуть под обложку, прошляпил. А между тем почерк был самого Рейли – Марат только что видел собственноручные записки знаменитого шпиона, сделанные на Лубянке в 1925 году.

Задрожали пальцы, и Марат совершил один из самых отчаянных поступков в своей совершенно неотчаянной жизни. Оглянулся на дверь и спрятал листки во внутренний карман. К этому времени он был уже очень сильно увлечен загадкой лейтенанта Рейли, потому и пробился сюда, в недоступный простым смертным архив, использовав чудесно подвернувшуюся возможность.

Заказ на сценарий Марату достался почти случайно. В преддверии Большой Годовщины, пятидесятилетия Октября, затеяли телеэпопею о чекистах ленинского призыва. После огромного успеха первого советского сериала (это было новое, модное слово) «Вызываем огонь на себя», про разведчиков Великой Отечественной, постановили снять картину такого же жанра и о сотрудниках органов послереволюционной эпохи, остановившись на рубеже тридцатых – дальше начинался период, касаться которого не стоило.

За сценарий взялся мастодонт историко-революционного жанра Голованов, еще до войны снявший фильм «Без пощады» – о разоблачении врагов народа. В свое время картина гремела, а ныне была положена на полку и всеми забыта. Потом Голованов сделал еще с десяток сценариев про Дзержинского. Все знали: старый конь борозды не испортит. Но ветеран сценарного цеха подвел руководство. Сначала хворал, сильно задерживая сдачу, а потом вовсе помер. Стали разбирать его наработки – схватились за голову. Старик почти ничего не сделал, а то, что сделал, совсем никуда не годилось. Важнейший госзаказ оказался под угрозой срыва.

Гостелерадио объявило аврал. Мобилизовали не только сценаристов, но и прозаиков, известных обязательностью и знакомых с тематикой. Марат всегда сдавал рукописи в срок, плюс кто-то в секретариате вспомнил его первую повесть. Привлекли к экстренному конкурсу. События гражданской войны и двадцатых годов Марата всегда волновали – из-за памяти об отце. Историю великой эпохи, когда всё еще не пошло вкривь и вкось, он знал очень хорошо. План-проспект заданного формата («телевизионный роман о чекистах двадцатых годов, состоящий из четырех полуавтономных новелл с общим главным героем») сдал быстро. Идея и сюжетная композиция наверху понравились, выбор главного героя – тоже.

Проблема заключалась в том, что Дзержинский не годился – он ведь умер в 1926-м. Прославленные асы разведки и контрразведки – Петерс, Уншлихт, Артузов, барон Пилляр фон Пильхау, Стырна – тоже не подходили. Всех их потом, в тридцатые годы, репрессировали. Марат же предложил сделать центральным персонажем бесцветного преемника Железного Феликса – товарища Менжинского, который послушно выполнял волю Сталина, не слишком вмешивался в работу своих деятельных сотрудников и очень удачно скончался в 1934 году, как раз перед тем, как закрутилась мясорубка. Сценарная идея заключалась в том, чтобы изобразить тихого, болезненного Вячеслава Рудольфовича инициатором и руководителем всех блестящих операций, на самом деле проведенных его помощниками.

Название было задано заранее, очень скучное: «Чистые руки», но Марат собирался придать ему особый важный смысл: было-де время, когда руки у органов еще не загрязнились – во всяком случае по сравнению с тем кошмаром, который наступил потом. Больше всего Марат гордился концовкой. Там, вперемежку с финальными титрами, должны были идти фотографии знаменитых чекистов героической поры, с годами жизни, и у каждого она многозначительно заканчивалась в 1937 или 1938 году. Все кому нужно поймут.

Фильм первый «Операция “Синдикат”» был о том, как в СССР заманили Бориса Савинкова. Фильм второй «Операция “Инспектор”» – о том, как аналогичным манером ликвидировали Сиднея Рейли. Фильм третий «Операция “Турист”» – о том, как чекисты водили за нос Василия Шульгина. Фильм четвертый «Операция “Эндшпиль”» – о том, как из Парижа выкрали генерала Кутепова.

При окончательном монтаже портреты с многозначительными подписями были вырезаны, и получился просто жанр плаща и шпаги, вернее щита и меча. Марат

был этим совершенно убит, оправдывался перед знакомыми, те сочувственно кивали – и завидовали. Сериал посмотрела вся страна, ему сулили Госпремию, а создатель сценария, чье имя раньше мало кто знал, из литературных лейтенантов взлетел если не в генералы, то уж точно в полковники. В Союзе с ним теперь разговаривали по-другому, большие начальники вели в кабинетах душевные разговоры, в Литфонде перевели на первую категорию обслуживания – выше только «особая».

Но сценарий был насквозь лживый и халтурный, уж Марат-то это знал лучше кого бы то ни было. Самое мучительное и досадное, что он искренне интересовался той драматичной эпохой, выкинувшей на поверхность столько поразительно ярких, фантастически интересных личностей. В каждую судьбу хотелось погрузиться, написать про нее целое исследование или даже роман.

Это было время решительных, быстрых людей, которые без колебаний убивали и умирали. Все сложные и медленные ступевались, вжали головы в плечи, потерялись. Марат сам был сложным и медленным, герои и антигерои Гражданской его завораживали. Он плохо помнил отца, но тот, кажется, был человеком из того же теста или вернее из того же металла.

Во всей ослепительной плеяде красных, белых, черных, зеленых «звезд» революционного и постреволюционного хаоса Марата больше всего заинтриговала одна: герой, то есть, собственно, антигерой второго фильма Сидней Рейли. До начала работы над сценарием Марат знал, что это заклятый враг советской власти, британский авантюрист с мутным прошлым, главный организатор «Заговора послов», попытавшийся устроить переворот в 1918 году, но угодивший в чекистский капкан. Тогда Рейли сумел уйти, но не угомонился и продолжал вредить молодой республике. В 1919 году в Одессе был посредником между Деникиным и французскими интервентами, потом помогал савинковским террористам, в 1925 году нелегально перешел советскую границу и был арестован сотрудниками ОГПУ.

Фильм рассказывал о финальном, роковом турне английского диверсанта, но Марат с его всегдашней обстоятельностью, конечно, стал изучать всю биографию Рейли – и утонул в ней.

Сидней Рейли был человеком-легендой в самом буквальном смысле: живого человека не получалось отделить от ходивших про него легенд. Многие из них, видимо, он сам и придумал, с фантазией и удовольствием. Англоязычная биография «Король шпионажа» читалась, как роман Буссенара.

Будущий архивраг большевизма был родом с юга Российской империи – то ли из Одессы, то ли из Херсона. Происхождения непонятного. Не то сын полковника царской армии, не то врача-еврея, а может быть вообще незаконнорожденный. Фамилия, под которой он фигурирует в ранних документах, – Розенблюм, но имя известно неточно. Георгий? Зигмунд? Соломон?

С большей или меньшей достоверностью установлено, что в 1894 году, двадцатилетним юношей, после каких-то неприятностей с полицией, Розенблюм уплывает из Одессы за границу. Затем его след на время теряется.

Молодой человек выныривает в Бразилии, где пристраивается к британской разведывательной экспедиции, и в джунглях, во время нападения туземцев, проявляет чудеса доблести. Вся бразильская эпопея почти наверняка выдумана самим Рейли, хотя черт его знает.

Зато почти наверняка правдива история о том, как в 1895 году, уже в Европе, он напал в поезде на двух итальянских анархистов, специализировавшихся на «эксах», убил их и забрал награбленное. Участие молодого иммигранта в этом налете, впрочем, никогда доказано не было.

В последующие годы он, по-видимому, совершил как минимум еще два убийства. Сначала при весьма подозрительных обстоятельствах скончался муж женщины, на которой Рейли вскоре женился, а затем пропала горничная из гостиницы, где произошла эта нехорошая смерть. Похоже, что отравитель убрал нежелательную свидетельницу. Полицейское расследование ничего не дало.

Однако опасный молодой человек явно не был заурядным душегубом. Окружающие чувствовали в нем что-то особенное, привлекательное. Поначалу Марат воображал себе этакое холоднокровного ницшеанца, Раскольников без рефлексий – как в анекдоте «пять старушек – рубль». Типаж отлично укладывался в клише злодея, который двадцать лет спустя будет люто ненавидеть Советскую Россию. Но было нечто, в эту матрицу никак не вписывавшееся. Оказывается, на Западе считается, что Рейли является

прототипом главного героя в романе Этель Лилиан Войнич «Овод». У молодой писательницы был с авантюристом роман.

Открытие так сильно поразило Марата еще и потому, что параллельно с работой над сценарием он готовился писать для серии «Пламенные революционеры» роман о народовольце Степняке-Кравчинском, а в советском литературоведении утверждается, что «Овод» списан именно с него. Вот это совпадение! Но кому верить?

Похоже, верить следовало зарубежным филологам. Романтический Артур Бертон («мечтательный, загадочный взор темно-синих глаз из-под черных ресниц») даже внешне был гораздо больше похож на молодого Сиднея Рейли, чем на широколицего, некрасивого и немолодого Кравчинского. По версии английских авторов, тот всего лишь учил англичанку русскому языку.

Марат перестал видеть своего персонажа, перестал его понимать. Факты были слишком противоречивы, характер не складывался. Прототип Овода не мог отравить докучного мужа и потом хладнокровно убрать свидетельницу.

Кто-то – кажется, Флобер – сказал: «Меня как писателя интересует лишь то, чего я не понимаю». Как это верно! Из картонного злодея Рейли превратился в непонятого, но живого человека, и описание его дальнейших походов Марат штудировал уже с совсем другим чувством.

Овод с криминальным уклоном попал в шпионы из-за своего происхождения. Английской разведке были очень нужны предприимчивые люди, хорошо знавшие Россию и русский язык. Две империи издавна соперничали между собой.

Ловкий, не стесняющийся в средствах агент выполнил какую-то секретную миссию в Баку, что-то связанное с нефтью, и видимо справился с заданием блестяще. Кажется, именно после этого он получил и британское подданство, и новое имя, превратившись по документам в ирландца. Потом последовала еще более таинственная поездка в Порт-Артур, как раз в канун японского нападения. Мистер Рейли попал в поле зрения русской контрразведки, подозревался в шпионаже, но ареста избежал – вовремя исчез. В годы перед Первой Мировой, когда Британия и Россия стали союзниками по Антанте, «король шпионажа» переключился на Германию и сыграл какую-то важную, но окутанную туманом роль в англо-немецкой борьбе за иракскую нефть.

Всё это было захватывающе интересно, однако ничем не нарушало первоначальной трактовки персонажа: дерзкий, оборотистый, абсолютно безнравственный пройдоха, «рыцарь без страха, но с упреком».

Не противоречила этому портрету и перемена рода занятий, которая произошла где-то около 1908 или 1909 года. Рейли перестал выполнять поручения английской разведки и переключился на бизнес. Он болтался между странами и континентами, ввязывался в разнообразные деловые предприятия, в основном имевшие отношение к военной индустрии или передовой технике. Например, создал первый в России лётный клуб, очень популярный у состоятельных «спортсменов». Бывшему шпиону явно хотелось разбогатеть, он был большим любителем красивой жизни и красивых женщин. Но расточительство и непоседливость мешали успеху. Мистеру Рейли никак не богателось, во всяком случае по-настоящему.

Его звездный час настал с началом мировой войны. Рейли поселился в Соединенных Штатах, куда рекой полились заказы на вооружение, пристроился к струившемуся из России денежному потоку посредником и наконец достиг того, о чем мечтал: стал миллионером.

А потом произошло нечто загадочное, совершенно необъяснимое.

Осенью 1917 года преуспевающий делец вдруг бросил все свои гешефты, расстался с благополучной нью-йоркской жизнью и записался добровольцем в британскую армию, а затем вызвался ехать с разведывательной миссией в охваченную революцией Россию, к тому времени уже большевистскую. Почему он выкинул столь неожиданный кульбит, ни одна биография толком не объясняла. Алчный деляга, на котором негде пробы ставить, по собственной воле кинулся в самое пекло и впоследствии с этого губительного пути уже не сошел, превратился в такого Овода от контрреволюции – и закончил так же, как герой романа.

«Что за муха тебя укусила? – мысленно спрашивал Марат у фотографии Сиднея Рейли. – Зачем ты сломал свою жизнь, зачем сам вырыл себе могилу? Разве люди твоего сорта совершают подобные поступки? Ты ведь не пламенный Степняк-Кравчинский, ты же акула, рептилия!».

Фотография смотрела спокойными, хладнокровными глазами. Современники писали, что знаменитый разведчик всегда, при любых обстоятельствах сохранял невозмутимость.

В телесценарии Рейли, конечно, был изображен таким, как предписывал канон – прожженным негодяем, который в эпизоде, отсылающем к событиям 1918 года, ощерившись, шипит: «А этого их Ленина я застрелю собственной рукой» – и трясет перед камерой своей хищной пятерней.

Но вообще-то история с пресловутым «Заговором послов», изложенная во всех учебниках по истории, многократно описанная в художественной литературе и запечатленная кинематографом, при внимательном изучении выглядела очень странно и неубедительно.

Принято считать, что это была первая сложная операция ВЧК. Дзержинский с Петерсом подослали к иностранным дипломатам своих секретных сотрудников, латышских стрелков, которые изображали участников подпольной антисоветской организации. Представители Англии, Франции и США клюнули и присоединились к лже-заговору, глава шпионской сети Рейли был обведен вокруг пальца, и в результате коварные происки Антанты были разоблачены перед всем миром.

Зачем молодой, слабой республике понадобилось так обострять отношения с Антантой – непонятно. Это первое. Второе: вообще-то подобные действия являются классической провокацией, абсолютно в духе царской Охранки, и гордиться тут нечем. В-третьих, как-то не очень верилось, что дилетанты из только что созданной спецслужбы могли обдурить такого матерого волка как Рейли. Ну а в-четвертых...

Марат выяснил, что один из ключевых участников прославленной операции Ян Буйкис до сих пор жив, чудесным образом уцелев во всех чистках. С волнением и даже трепетом отправился на встречу с ветераном органов. Тот оказался не так уж дряхл, немногим за семьдесят, вполне в рассудке. Сначала рассказал, почти слово в слово, то, что было напечатано в книгах, но когда Марат стал задавать приготовленные вопросы, пенсионер союзного значения вдруг стал путаться в фактах и датах. Это бы ладно, все-таки полвека прошло, но старик наговорил такого, чего не было и быть не могло, а про какие-то события, в которых, согласно отчету Петерса, Буйкис лично участвовал, собеседник явно слышал впервые. Всё это было непонятно.

Тогда, в период работы над сценарием, попасть в архив КГБ не получилось. Директор картины не пожелал затевать бумажную волокиту, сказал: «Пишите по опубликованным материалам, их более чем достаточно». Если бы не знакомство с Серафимом Филипповичем, Марат никогда не проник бы в хранилище секретов государственной истории. И не совершил бы кражи, за которую можно было дорого поплатиться. Хотя как можно украсть то, чего не существует?

Когда писатель сдавал взятые под расписку документы, сотрудник архива всё скрупулезно сверил по описи. Там среди прочего значился «Путеводитель «Московские улицы» 1916 г. изд., обернутый в газету «Копейка» от 04.05.1918». Вот книжка – пожалуйста. Вот обертка. А никакие листки в описи не упоминались.

Марат, в отличие от Сиднея Рейли, был совсем не авантюрист, не искатель приключений. Покрылся сначала мурашками, потом холодной испариной, но добычу из архива вынес.

Английский он знал неважно, да и почерк трудный, но в конце концов все слова разобрал, перевел, отпечатал на машинке.

Похоже, это были выписки из какого-то старинного японского трактата, с комментариями Рейли. Чем первоисточник так заинтересовал шпиона и почему он спрятал листки под обложкой – загадка. Такая же, как сам Рейли.

Один из новых, лестных знакомых Марата, очень популярный писатель-фантаст, в прошлом был переводчиком с японского. Просмотрев текст, Аркан (в этой компании у всех были прозвища), уверенно сказал:

– Как же, как же. Знакомая писанина. Когда я после войны работал в лагере для японских пленных, у многих видел эту книжонку, она входила в перечень литературы, рекомендованной солдатам. Называется «Хагакурэ», «Сокрытое листвою». Автор – самурай, живший два с половиной века назад, его звали Цунэтомо Ямамото. Очень странное сочинение. Там среди всякой чепухи – например, совета мочить лоб слюнями, чтобы успокоиться – попадаются довольно оригинальные мысли. Считалось, что чтение «Хагакурэ» укрепляет самурайский дух.

– А что такое «Путь Искренности»? – спросил Марат про самую последнюю запись.

– Там по-английски как было?

– «Way of Sincerity».

– Наверно в японском оригинале «сэйдзицу» или «сэй», первый иероглиф этого слова. Японцы обожают сэйдзицу и часто употребляют этот термин. Есть старинная поговорка: «Лучше потерять жизнь, чем сэйдзицу». Точного перевода не существует. Буквально получается глуповато: «истинная настоящесть». Мне однажды у Акутагавы попало. Персонаж спрашивает: «А в этом человеке есть сэйдзицу?». Я долго думал, в конце концов перевел: «А ему можно доверять?», но это очень, очень приблизительно. Самое близкое по контексту русское соответствие – «стержень». Некая внутренняя прочность, цельность, неподдельность.

Про это Марат потом тоже много думал. И роман, который возник сам собой, про бегущего за трамваем человека, назвал «Сэйдзицу» – пусть будет такое же непонятное, как главный герой.

За воротами Новодевичьего, на троллейбусной остановке, кто-то тронул сзади за плечо.

Джек Возрожденский, поэт. У могилы Марат его не видел, да Джека там и не было – иначе бросился бы в глаза. Он всегда и везде бросался в глаза. На похоронах Кондратия Григорьевича все были в черных костюмах и черных галстуках, а на Джеке – яркая клетчатая ковбойка с короткими рукавами, синие американские штаны, в которых ходили правильно модные (выражение Антонины) люди. Штаны назывались «джинсы», их привозили из капстран немногие «выездные», или же надо было доставать у фарцовщиков за безумные деньги, минимум рублей за пятьдесят. Но Джек, конечно, купил свои где-нибудь в Европе, он не вылезал из загранок. С тех пор как сам Жан-Поль Сартр назвал его «звонким голосом новой России», Возрожденного наперебой приглашали на иностранные литературные фестивали.

– Привет, Дантон, – сказал Джек, скаля крупные неровные зубы. Он вечно переименовывал имена знакомых, блистал эрудицией. Марат у него бывал и Робеспьером, и Бабёфом, и даже каким-нибудь малоизвестным Колло д'Эрбуа. – Ты чего тут?

Ответить Марат не успел – Джек редко дожидался ответов на свои вопросы, он был человек монологический.

– Я – «волей пославшей мя жены». Выполнял общественно-семейное поручение – приводил в порядок могилу тестя. Он был комбриг. «Господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир». Жутко везучий – помер от инфаркта в тридцать шестом. Знаешь мое стихотворение «Лотерейный билет»? «Одни выигрывают «Волгу», другие – смерть в кругу родных». Это ведь я про тестя писал, мало кто знает. Так кто у тебя тут закопан?

Опять не дождался ответа.

– погоди. Я догадался. Сегодня же воскресенье. По воскресеньям ты надеваешь черный галстук, то бишь шляпу с траурными перьями, и шакалишь по кладбищам, взыскуешь вдохновения, некрофил несчастный. У тебя «Воскресная поездка», да?

Засмеялся, довольный своим остроумием. В его среде считалось хорошим тоном шутить над вещами, над которыми скучные люди не шутят. Например, над кладбищами и смертью. «Я умру, как скворец. Спел, упал, и конец», – говорилось в одном из самых известных стихотворений Возрожденского.

Повесть Марата была напечатана в «Юности» полгода назад. Он еще не привык к своей новообретенной известности. К сорока годам как-то свыкаешься с мыслью, что никаких чудес в твоей жизни больше не случится. Так и будешь до гроба извозничать прозаиком третьего ряда, писать заказные романы для серии «Пламенные революционеры». Марат думал, что его жизнь – дромадер, одногорбый верблюд. Сначала поднимает тебя вверх и ты воображаешь, что ты – царь горы, а потом опускает вниз, к хвосту и заднице.

Однако жизнь оказалась не дромадером, а двугорбым бактрианом. Спустив вниз, вдруг неожиданно опять подкинула кверху. И второй горб оказался выше первого.

В сорок четвертом, закончив семилетку, Марат, как все интернатские, попал прямиком на завод. В первый же день по своей природной неуклюжести пропорол токарным сверлом руку. Разжаловали в подметальщики. Двенадцать часов в день – увеличенная смена военного времени – собирал металлические опилки. На всю жизнь возненавидел запах мертвого железа. Поступил в вечернюю школу только для того, чтобы раньше отпускали с работы. Потом была заводская многотиражка, статьи о передовиках и «узких местах производства», заочный Литинститут, первые рассказы – очень слабые, рассылавшиеся по всем редакциям, которые обычно даже не отвечали. В сорок девятом вышло постановление ЦК «О новых задачах советской литературы». Смысл документа заключался в том, что хватит предаваться героическим воспоминаниям о войне, пора переориентировать читателей на мирную жизнь и мирное строительство. В молодежном журнале «Искра» кто-то вспомнил, что среди рукописей, присланных вчерашними лейтенантами, было что-то на производственную тематику и автор – совсем молодой парень, не интеллигент, а рабочая косточка.

Так Марат начал печататься, продолжая работать в заводской газете. Через пару лет получил заказ на повесть о связи поколений – революционного и нынешнего, послевоенного. Написал, отправил, несколько раз переделывал, учитывая редакционные поправки. Наконец повесть вышла, особенного интереса у читателей не вызвала, но попала на глаза какому-то большому человеку – может быть, даже Самому Большому (все знали, что он лично следит за новинками литературы).

Однажды Марата прямо с прокуренной планерки срочно вызвали по телефону в обком, где он никогда раньше не бывал. Первый секретарь вышел навстречу из-за стола, долго жал руку, говорил, какая это честь для всего Урала. Повесть получила Сталинскую премию. Правда, третьей степени, но это всё равно было нечто невообразимое, фантастическое.

Жизнь сказочно переменилась, Марат вскарабкался на первый горб верблюда. Финансовая составляющая премии, 25 тысяч, показалась ему колоссальным богатством (в редакции у него была зарплата девятьсот рэ), но деньги были чепухой по сравнению с внезапно открывшимися горизонтами.

Пришло приглашение возглавить отдел прозы в столичном журнале «Искра», и Марат переместился из грязного, нищего города в Москву, которую не видел пятнадцать лет, с детства.

Москва очень изменилась. Украсилась высотными домами, широкими проспектами, по улицам ходило невероятное количество мужчин в шляпах и женщин в шляпках (на Урале все носили кепки и платки). Год спустя Марат и сам носил шляпу, жил в отдельной квартире с ванной, был женат на принцессе и ездил на собственном автомобиле «москвич» – тесть подарил к свадьбе.

Царем горы он пробыл года три, потом пополз с горба вниз. Сначала разучился писать – вернее разучился писать плохо, а хорошо не получалось; в результате с по?том, скрипом и скрежетом, очень скудно, выдавал серую середнятину, печатался редко и превратился из молодого многообещающего в нечто скучное, вчерашнее. Потом настали новые времена, задули новые ветры, сталинское лауреатство из почетного титула превратилось в нечто, чего следовало чуть ли не стесняться. Зажиточность кончилась, семья распалась, чему поспособствовали угрюмые многодневные запои. От алкогольной напасти Марат в конце концов вылечился, но, выражаясь языком экономики, вошел в период затяжной рецессии и смирился с тем, что никогда уже из нее не выберется.

Верблюд продемонстрировал, что у него имеется и второй горб, только в прошлом году. Сначала был телефильм, очень прибыльный во всех смыслах кроме репутационного. Потом повесть, написанная по гениальному рецепту Кондратия Григорьевича, превратила «некрепкого середнячка» (цитата из обидной рецензии, после которой случился первый запой) в интересного прозаика – это еще лучше, чем модного.

Повесть, а скорее длинная новелла с нарочито скучным названием, рассказывала про одинокую старую женщину, которая в воскресенье приезжает на кладбище с большим букетом цветов. Букет странный – все цветы в нем разные: роза, астра, гвоздика, георгин, ромашка и так далее. Старуха движется каким-то известным ей одной маршрутом от могилы к могиле, перед каждой долго стоит, вспоминает покойника, кладет один цветок, идет дальше. Таким образом произведение сплетено из небольших рассказов об умерших людях, которых помнит только одинокая старая женщина, но она скоро тоже умрет и тогда от них вообще ничего не останется. «Потому что никому ничего не нужно» – такой была самая последняя фраза. Но пока женщина жива, продолжают жить и важные для нее мертвецы. Кто-то из них погиб на войне, кто-то скончался от тяжелой болезни или угодил в аварию, а нескольких «постигла судьба еще более страшная» – какая именно, не говорится, но читателям всё понятно. Критики особенно хвалили повесть за «драматичный лаконизм и магнетическую недосказанность», в одной статье даже сравнили с

айсбергом. На самом же деле Марат просто выполнил рекомендацию своего онси, Учителя: сначала написал эпизоды про реальных людей, репрессированных в тридцатые, потом эти куски выкинул. Осталась звенящая пустота, она и притягивала.

Но самым главным счастьем новой жизни и второй молодости была «понеделничная книга», как про себя окрестил Марат новый роман. Потому что писал его только по понеделничкам – еще одно великое открытие, уже собственное.

Литературную работу нужно делить на повседневную и праздничную. Первая – для издательства, вторая – только для себя.

Марат писал параллельно романы про обоих Оводов. Шесть дней в неделю, по три часа в день, – заказной, про Степняка-Кравчинского. Один день отвел для Сиднея Рейли и, бывало, засиживался за столом до глубокой ночи.

Обычно люди с нетерпением ждут воскресенья, он же не мог дожидаться понеделничка. Энергия накапливалась и пузырилась, как газ в бутылке шампанского, – и так же празднично выстреливала, когда Марат утром в понеделничка придвигал к себе проворную гэдээровскую «Эрику». «Пламенного революционера» он печатал на неторопливой, лязгающей отечественной «Москве». Рабочих столов в тесном кабинете было два. Над одним пришпилены фотографии из папки «Рейли», над другим – из папки «Степняк».

Надо сказать, что и стопроцентно советская книга про героя-народовольца теперь писалась по-другому. Намного свободнее, без прежней натуги и тоже с живым интересом. Человек-то был неординарный, и судьба поразительная.

Наверное, эту новую жизнь можно было бы назвать счастливой, но разве писатель, настоящий русский писатель умеет быть счастливым? Настоящий и русский – нет. Счастливую жизнь прожил Кондратий Григорьевич, зачарованный принц соцреализма, ну так он за это и заплатил – тем, что так и не стал настоящим. Правда, после него остались рукописи, написанные «в стол», но трудно поверить, что человек, до такой степени ценивший комфорт и покой, мог написать что-нибудь уровня «Мастера и Маргариты» или гроссмановской саги, которую перепечатывали на машинке.

– Что? – переспросил Марат. У него часто бывало, что, отвлекшись на собственные мысли, он переставал слышать собеседника.

– Я говорю, поехали к Гривасу. Сегодня же «воскресник». Выпьем водочки, помянем совклассика, старого лиса. Природу он описывал неплохо, – сказал Джек Возрожденский.

«Воскресником» назывались еженедельные сборища, который устраивал у себя Гривас, предводитель всех московских интересных людей – писателей, поэтов, художников. Другое название – ироническое, дореволюционное – было «журфикс». У Гриваса на входной двери висела утащенная из какого-то казенного учреждения суровая табличка «Посторонним вход воспрещен». По воскресеньям перед третьим словом приклеивалась бумажка с частицей «не», но посторонних, конечно, там никто не ждал. Попасты в этот круг было еще труднее, чем вступить в Союз писателей. Иногда, поднимая рюмку для тоста, Гривас шуточно обращался к приятелям: «Товарищи члены и кандидаты в члены Политбюро». Марат пока чувствовал себя «кандидатом». На журфиксы без приглашения, как другие, ни разу не приезжал – стеснялся. Но если с Возрожденским – другое дело.

Пить водочку он не собирался, с этим навсегда покончено, но после черных галстуков, после скучных рож эспэшных секретарей побыть в компании живых, остроумных людей, где не только пили и зубоскалили, но, бывало, и вели серьезные разговоры, было соблазнительно.

– А что? Поехали, – беззаботно ответил Марат, решив, что Степняк-Кравчинский его простит. В конце концов в трудовом законодательстве написано, что всякий советский гражданин имеет право на отдых.

Пламенные революционеры

Кочегар истории

Роман о Сергее Степняке-Кравчинском

Глава первая

15 апреля 1895 года

– Пришел ваш русский медведь, – сказала домашняя помощница. Слово «служанка» в доме не употреблялось, да Дженни и не прислуживала, она по-матерински заботилась о старике, хотя по возрасту годилась ему во внучки. – Сказать, что вы работаете?

– Нет, пусть заходит.

Старик сунул гусиное перо в чернильницу. Он любил новые идеи и новых людей, а вещи любил старые и даже старинные: канделябр со свечами, зеленое сукно, допотопные письменные принадлежности. Стальных перьев не признавал.

Лицо тоже было нелогичное, противоречивое. Длинная седая борода библейского пророка, глубокие морщины на высоком лбу, а глаза очень молодые, ярко-голубые, веселые.

Он говорил: «В молодости следует жить настоящим, тем что вокруг тебя, а в старости – будущим, тем, что будет после тебя, потому что в первой половине жизни ты берешь, а во второй отдаешь». Пока был молод, он казался старше своих лет, с возрастом же словно делался всё моложе. И жить ему становилось всё легче. Его девиз, каллиграфически выведенный на картонке и помещенный в рамку, был «Take everything easy»[3 - «Ко всему относись легко» (англ.)].

Всем с ним тоже было легко. Мужчинам – весело и интересно. Как говорится, хоть на пир, хоть в драку. Женщины же, какого угодно возраста и социального положения, всегда относились к нему бережно и любовно, словно он был соткан из воздуха и в любой момент мог растаять.

Старику оставалось недолго, он был болен и говорил об этом без грусти. Дженни молилась и плакала у себя в комнате, тихонько. Молиться и плакать в этом доме не разрешалось.

– Я так и думала, что вы его примете, вы всегда ему рады, – сказала она, видя, что лицо старика просветлело. – Уф, какой же у вас беспорядок! Когда вы наконец разрешите мне убраться в кабинете, мистер Эйнджелс?

Она всегда так его называла: «мистер Ангелов», сколько ни поправляй, немецкая фамилия «Энгельс» неповоротливому языку уроженки Ист-Энда не давалась.

В дом 41 на Риджентспарк-роуд переехали недавно, всё тут было временное, и хозяин основательно обустроиваться не собирался, потому что какой смысл? Скоро помирать.

– Потом приберешься, – беспечно ответил он. – Когда мой прах развеется над морем. А пока, хоть одну бумажку с места тронешь – прокляну перед разверстой могилой и потом буду являться по ночам.

– Тьфу на вас с такими шутками, – тихо пробурчала Дженни, выходя. И громко, гостю: – Давайте шляпу, он вас примет!

Энгельс поднялся. В прежние времена обязательно выходил из-за стола, но в последнее время ослабел, просто протягивал исхудавшую руку.

– Дорогой Степняк, дьявольски рад.

Карл когда-то сказал: «Революционеров и писателей следует называть именем, которое они сами себе выбрали». И тут же поправился со своей всегдашней любовью к точным формулировкам: «Хороших революционеров и хороших писателей, ибо плохие революционеры и плохие писатели – ничемнейшие существа на свете, и называть их вообще никак не нужно, просто выметать из своего круга метлой».

Сергей Кравчинский, псевдоним «Степняк», был и то, и другое: хороший революционер и хороший писатель.

Он был плечистый, кудлатый, растрепанно бородатый, с широким лицом, очень похожий на Карла в сорок с небольшим. Уже одно это вызывало симпатию. А кроме того Степняк, как и сам Энгельс, тоже был весь соткан из несоединимых противоречий. (Откровенно говоря, только такие субъекты и бывают интересны.)

Говорил Степняк всегда просто и четко, будто рубил топором, но писал умно и изящно, даже поэтично – «по-женски», как называл это Энгельс, убежденный, что женщины – лучшая часть человечества и делают всё или почти всё лучше, чем мужчины. Однажды в разговоре, выяснилось, что русский медведь точно такого же мнения о женском поле, несмотря на всю свою брутальность.

Брутальность впрочем была обманчивая. При близком знакомстве очень скоро становилось понятно, что это человек невероятно мягкий и добрый. Если и медведь, то плюшевый. Как это сочетается со стальной биографией – загадка. Рассказывать о себе Степняк не любил. Он был из людей, которые с увлечением говорят об идеях и со скукой о событиях, особенно из прошлого. «Мало ли что было, главное, что есть и что будет», – отвечал он, когда кто-нибудь пытался расспросить его о героическом прошлом. И переводил разговор на другую тему.

Но Энгельс пообещал себе, что однажды раззадорит человека-легенду на рассказ, и тогда станет ясно, сколько там легенды, а сколько правды. По русскому было видно, что врать он не умеет и не станет.

Почему бы и не сегодня, сказал себе хозяин, внутренне улыбаясь.

– Как это мило, что вы пришли ко мне с подарком, – кивнул он на сверток, который гость держал под мышкой. – Ну поздравляйте, поздравляйте.

– С чем? – удивилась простодушная жертва.

– Как? Разве вы пришли не поздравить меня с днем рождения? – изобразил удивление и Энгельс. – Вот тебе на.

Эти слова, «vot tebe na», он разочарованно произнес по-русски. Среди двух десятков языков, на которых читал и свободно изъяснялся самый умный человек эпохи (его называли и так), конечно, был и русский.

Однажды Энгельс отвечал на дружескую анкету. Там был вопрос: «Что вы больше всего любите?». «Дразниться и быть дразнимым», – написал респондент со всей откровенностью. На самом деле родился он в ноябре и до следующей годовщины дожить не рассчитывал, но хитрость отлично сработала.

Гость запаниковал.

– Ой, как неудобно... Нет, в свертке статья для «Neue Zeit», которую я обещал написать... Но я вас от души поздравляю... А подарок... Я обязательно что-нибудь в следующий раз преподнесу. Честное слово.

– Дарить подарки нужно в день рождения, – строго молвил Энгельс. В его удивительных глазах сверкнули веселые голубые искорки. – Иначе плохая примета. Мы с вами, конечно, материалисты, но зачем искушать судьбу? Особенно, когда у человека неважно со здоровьем.

Закашлялся.

– Что же вам подарить?

Степняк зашарил по карманам. Вынул железную расческу, тощий кошелек, носовой платок, огрызок свинцового карандаша, потрепанный блокнотик. Больше ничего не было.

– Подарите мне рассказ о вашей жизни. Вот и будет отличный подарок, – нанес coup de gr?se Энгельс.

Он всегда своего добивался. Добился и теперь.

Простофиля даже обрадовался:

– Хорошо, коли вам угодно. Только жизнь у меня дурацкая, шиворот-навыворот.

– Как это «шиворот-навыворот»?

– У умного человека как? Он сначала долго думает, потом действует. Как русский богатырь Илья Муромец: тридцать лет и три года пролежал на печи, а

потом вышел из избы и стал махать-рубить направо-налево. Я же сначала намахался-нарубился, а теперь вот сижу на печи, тут, в Лондоне, думаю: что я в своей жизни сделал правильно, что неправильно. Илья Муромец в отставке.

Улыбка у русского была очень славная, сконфуженная. Энгельс им любовался.

– Стало быть, вы ощущаете себя сказочным богатырем?

– Кем я себя ощущаю?

Кажется, Степняк никогда об этом не задумывался. Люди такого склада не имеют привычки долго о себе размышлять, рефлексии не их forte.

– Богатырем – нет... Я сказок и в детстве-то не любил. Там героям вечно какая-то волшебная сила помогает.

– А что вы любили в детстве? – с любопытством спросил хозяин. Как ни странно, было очень легко представить этого довольно устрашающего господина мальчиком: выражение лица в точности такое же, лоб наморщен, глаза смотрят пытливо, только бороду долой.

– Железную дорогу. Паровозы. У нас на Херсонщине как раз первую трассу проложили. Вот это казалось мне настоящим чудом, не то что сказки: несется по полю, по железной колее огнедышащий Змей, пыхает черным дымом, искры летят, тащит за собой короба, а в них люди, много... Я и историю так же вижу. Ее паровоз – революция, она меняет эпохи и формации, ускоряет бег времени, везет людей вперед, в будущее. И для того, чтобы паровоз разогнался, нужна слаженная работа специалистов, знающих, что и зачем они делают. Есть инженеры, придумывающие, как проложить путь. Это вы с Марксом. Есть машинисты, управляющие локомотивом. А есть кочегары, кидающие в топку уголь. Они всего лишь рядовые солдаты в железнодорожном войске, но без них паровоз остановится. Я – кочегар истории, вот кем я себя чувствую.

Метафора была не слишком оригинальная, но Энгельсу понравилось и это. Он всегда недолюбливал оригинальничавших людей, большинство из них позёры.

– Рассказывайте, рассказывайте. Прямо с детства, с юности.

– Да право нечего, – развел руками Степняк. – Детство как детство, а юность глупая, как у всех.

Поняв, что так из него много не вытянешь, Энгельс сменил тактику.

– Тогда давайте по-другому. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечайте. Правду ли говорят, что вы были капитаном царской армии?

– Поручиком. Верней подпоручиком. Третью звездочку мне дали при выходе в резерв. Отец определил меня в кадетский корпус, потом было артиллерийское училище, но прослужил я всего год. Армия затягивает тебя в ремни, сажает на поводок, а мне хотелось свободы, идти не куда приказывают, а куда позовет сердце.

– И куда же оно вас позвало?

– В народ. Мы вдвоем с приятелем, таким же горе-поручиком, были из первых ходяков-пропагандистов. Думали, достаточно растолковать крестьянам, что их будущее в их же руках, и за нами пойдут толпы. Смешно вспоминать. Два зеленых молокососа, ряженые по-простонародному, воображали себя пророками. Я ведь еще и книжку для крестьян написал, излагал им в доступной форме Марксов «Капитал». Называлась книжка «Мудрица Наумовна». Начиналась она так: «То не ветер воеет по дубравушке, то не дождь мочит зеленую траву, то стонет русский народ от злых ворогов, то льет он свои слезы горькие». – Рассказчик засмеялся. – Нас с Митькой, конечно, в два счета выловили, посадили в каталажку, да я сбежал и с тех пор по своему паспорту больше уже никогда не жил. Выражаясь романтично, стал профессиональным революционером, а неромантично – бродягой.

– Правда ли, что вы отправились в Герцеговину, когда там началось восстание против турецкого владычества?

– Да. Только я туда поехал не по возвышенному порыву, а из сугубо практических соображений. Нас таких, русских добровольцев, было несколько десятков человек, все вроде меня. Думали, что половина наверно погибнет, зато остальные научатся партизанской войне, и это нам пригодится, когда в России полыхнет революция.

- И вы действительно командовали у повстанцев артиллерией?

Опять широкая улыбка.

- Это так только называлось. Всей артиллерии была одна пушка, и ту бросили, когда драпали от турок.

Иных подробностей не последовало.

- Еще рассказывают, что вы участвовали в знаменитом Беневентском походе?

- Послушайте, мне было двадцать пять лет, я тогда считал истинной верой анархизм, а пророком Магометом мсье Бакунина. Мог ли я остаться в стороне, когда ревнителю свободы затеяли разжечь в Италии пламя анархистской революции? Только знаете, анархисты, да еще итальянские - это бардак в квадрате. Мы захватили городок, произнесли перед ошеломленными крестьянами тыщу зажигательных речей, разрешили им никого не слушаться и не платить налоги, сожгли королевский портрет, а потом нагрянули карабинеры, и мы долго бегали по горам, прежде чем нас всех не переловили. Мы даже не отстреливались, потому что от чрезмерной любви к свободе и красному вину впопыхах забыли в городке шомполы. Так они и остались в ведерке с ружейным маслом. Нечем было заряды в стволы забивать. Тогда-то я и понял, что на анархистском угле паровоз революции далеко не уедет.

- Вы рассказываете об этом как о фарсе, но ведь вас приговорили к смертной казни?

- Только собирались. А потом на трон сел новый король, и мы попали под праздничную амнистию. У итальянцев и революционеры, и сатрапы не особенно свирепые. Посидел я полгода в тюрьме, в хорошей компании. Выучил итальянский.

- А также, говорят, научились владеть итальянским stiletto? И это искусство по возвращении на родину вам пригодилось. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы убили начальника всей царской тайной полиции.

Здесь Степняк помрачнел, насупил кустистые брови.

– А вот про это я ни вспоминать, ни тем более рассказывать не люблю.

– Что возвращает нас к теме давешнего спора, – не стал настаивать хозяин. – О неэффективности и даже вредности террора. Это подростковая болезнь революционного движения, она не должна становиться хронической. Необходимо ее перерасти. Вы не согласились, обещали изложить ваши доводы в статье. В свертке – это она? Давайте, прочту.

Гость зашуршал газетой, в которую была завернута рукопись.

– Знаете, я долго думал после нашего разговора. И существенно скорректировал свою позицию. Конечно, вы правы. Мы, русские, пустились в террор от нетерпения и безысходности. Видели, что никак по-другому расшевелить инертную народную массу не получается. Ну и ненависти за погубленных товарищей тоже накопилось много... И еще одно на меня подействовало, когда я писал статью. Из России пришла весть, которая меня очень взволновала.

– Какая? – живо спросил Энгельс.

– Помните дело Александра Ульянова? О покушении на Александра Третьего?

– Конечно. Восемь лет назад. Заговорщиков схватили и повесили.

– По нашим каналам сообщают, что брат Александра, Владимир Ульянов, молодой юрист, пошел иным путем, марксистским. Он и его товарищи отвергают террор. Они сосредоточились на агитации среди столичного пролетариата. У них подпольная организация, которая ставит своей целью создание рабочей партии.

– Вот это дело настоящее! Небыстрое, зато надежное. Идеи – оружие намного более действенное, чем кинжал или револьвер. А главное, идею не отправишь на виселицу...

– Но террор тоже необходим! – перебил Степняк, загораясь. Всегда очень вежливый, возбуждаясь, он становился нетерпелив. – Об этом и моя статья! О том, что царубийство само по себе ничего не решает, но, если нанести удар в решающий момент, когда революция назрела, этот акт способен совершенно парализовать власть! Да, тысячу раз да – идеи, агитация, пропаганда,

кропотливое партийное строительство! Но понадобится искра, от которой грянет взрыв! И понадобятся герои, готовые взорвать себя ради святого дела!

– А не жалко губить героев ради какого-то коронованного ничтожества? – возразил Энгельс.

Спорили до глубокой ночи.

«Воскресник»

После тестя, знаменитого кинорежиссера, Гривасу досталась квартира в высотке на площади Восстания – огромная, четырехкомнатная. По сравнению с ней Маратова тридцатиметровая, когда-то в послевоенной скудости казавшаяся роскошной, была просто позорищем. Жена говорила: стыдно позвать приличного гостя. Они и не звали. У них, на Щипке, было две комнаты, «маленькая» и «большая». А у Гриваса – столовая, гостиная, спальня и кабинет, который торжественно назывался «операционная». Хозяин любил цитировать профессора Преображенского из самиздатской повести Булгакова: «Я не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной». Столь же привольно существовали и остальные завсегдатаи «воскресников» – хорошо зарабатывающие, с отдельными квартирами, машинами, дачами. Достаток был заслуженный. Все они были люди известные. Но это-то не штука – среди прежних Маратовых знакомых имелись персонажи познаменитей и побогаче. Однако в Союзе совписов знаменитость и зажиточность обычно обременялись хреновой репутацией. За кем-то тянулся шлейф стукачества или разгромного витийства в «трудные годы», кто-то считался «казенным соловьем соцреализма», а кто-то послушно «колебался вместе с линией партии». У Гриваса всю эту братию презрительно называли «молчалками» – соединение «мочалки» с грибоедовским Молчалиным – и в свою среду не допускали. На «воскресниках» никто не морализаторствовал, на котурны не вставал, здесь хватало субъектов вздорных, малоприятных, скандальных (тот же Джек спяну делался дурным), но Молчалиных и Петров Петровичей Лужиных не водилось.

В просторной квартире на площади Восстания по-западному разбредались кто куда, с рюмками и бокалами в руках. Да все за одним столом и не поместились бы, тут обычно набиралась компания человек в тридцать, а бывало, что и больше. Гривас гордился тем, что он «стратег социальных коммуникаций», наследник Анны Павловны Шерер. «Залог успеха светского салона – разнесение солнечных систем, – балагурил он. – Во всяком сообществе есть светило и есть притягиваемые к нему планеты. Надо располагать гостей такими группами, чтобы два светила не затмевали друг друга». Поэтому обычно в каждой из комнат кучковались отдельные группки и велись автономные беседы. Хозяин перемещался от одной к другой, всюду блистая, при необходимости подкидывал тему. Иногда спор переходил в крик и ссору, все были молодые, а многие нетрезвые – Гривас немедленно появлялся на шум, но не растаскивал сцепившихся, а с удовольствием наблюдал за корридой, любил «силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе». Посмеивался в усы, потряхивал львиной гривой. (Он получил кличку еще и из-за нее, а не только потому что «Григорий Васильев».)

Марат был не из «светил», а из «планет». Слушал и наблюдал, рот раскрывал редко – только если с кем-то один на один. На публике тушевался. Оказавшись на «воскреснике», он обычно переходил из комнаты в комнату, прислушиваясь к беседам, и застревал там, где обсуждали или рассказывали что-то важное. Компания была хороша тем, что кроме хохмачества и сплетен, до которых Марат был не охотник, где-нибудь обязательно разговаривали и о серьезном.

Сегодня, кажется, народу собралось больше обычного. Человек пять или шесть оккупировали даже прихожую – которая размером превосходила «большую комнату» на Щипке. В центре размахивал руками Гога, постановщик картины, которая недавно вышла на экраны и вызывала жаркие споры. Публика поделилась на тех, кто пришел от новой киностилистики в восторг и кто на нее морщился. Первых было намного больше.

Возрожденский относился к числу вторых. Едва войдя, он сразу накинулся на Гогу, сюсюкающим голосом передразнивая главную героиню:

– «Ты меня любишь? А я тебя люблю!» Ты где таких баб видал, жеманник? У тебя любовники в постели лежат, будто не трахались, а в кубики играли. И целомудренное затемнение вокруг, одни носы видно.

Здороваться на «воскресниках» было не принято. Даже коротко, как в модной песенке: «Уходишь – счастливо, приходишь – привет». Хорошим тоном считалось вести себя так, словно и не расставались.

– О, любимец советской молодежи пожаловал. Ну поучи нас, поучи секс изображать, – парировал Гога. Он за словом в карман не лез. – Как там у тебя в бессмертных строках? «Сидишь беременная, бледная. Я пошутил, а ты надулась». Или вот это: «Постель была расстелена, а ты была растеряна и говорила шепотом: «Куда же ты, ведь жопа там?»».

Оставаться в прихожей Марат не стал. Во-первых, не выносил похабщины. Во-вторых, фильм про импозантную любовь представителей двух остромодных профессий, физика-ядерщика и стюардессы, был «не пыльца».

Отношение к художественным продуктам – кинокартинам, спектаклям, литературе – у Марата было писательское, то есть сугубо потребительское. Все произведения он делил на «пыльцу» и «не пыльцу». Вообразил себя пчелой, которая на одни цветки садится, а на другие нет. Потому что пчела чувствует, что? ей пригодится для производства меда, а что не пригодится или даже повредит. Поскольку никакого другого смысла кроме выработки меда в существовании пчелы нет, она должна слушаться своего инстинкта.

Бывало, начнет он читать новый роман, и вроде бы не к чему придраться: стиль неплох, сюжет не буксует, тема не высосана из пальца – а мертвая вода, никакой искры. Прочтет десять, двадцать страниц – откладывает. То же и с кино. Редко когда высиживал больше четверти часа – уходил. Не потому что плохо, а потому что «не пыльца».

Он и к людям относился так же. За одними хотелось наблюдать, запоминать жесты, интонации, мелкие детали, от других делалось скучно. Уродская профессия писатель, инвалидная.

В коридоре состязались фельетонист Вика из «Литгазеты» и актер Ширхан, прозванный так за тигриную вкрадчивость и острозубие. Это было их всегдашнее развлечение: Ширхан, у которого была фантастическая память, цитировал всякую советскую чепуху, а эрудит Вика угадывал, откуда это.

– «Иногда мы – кстати, совершенно незаслуженно – говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью, – передразнивал Ширхан чей-то бойкий, развязный говорок. – Свинья – все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит».

– Элементарно. Семичастный про Пастернака, доклад на сорокалетию ВЛКСМ, – пожал плечами Вика. – Ну, в третий раз, Лаэрт, и не шутите. Деритесь с полной силой; я боюсь, вы неженкой считаете меня.

Ширхан перешел на грузинский акцент:

– «В последнее время во многих литературных произведениях отчетливо просматриваются опасные тенденции, навеянные тлетворным влиянием разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни подрывной деятельностью иностранных разведок. Все чаще на страницах советских литературных журналов появляются произведения, в которых советские люди – строители коммунизма изображаются в жалкой карикатурной форме. Высмеивается положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества».

– Кто – понятно, – задумчиво произнес Вика, глядя в потолок. – Когда и где? ...Хм. Низкопоклонство, космополитизм... Встреча с творческой интеллигенцией, сорок шестой год. «В ваших рассуждениях, товарищ Фадеев, нет главного – марксистско-ленинского анализа». Так?

– Туше, – развел руками Ширхан. – А это? – И старческим дребезжащим фальцетом: – «Долг всякого советского писателя – верно служить Родине, партии, народу. Партия дала советским писателям все права, кроме одного – права писать плохо».

Но Вику было не победить.

– Леонид Соболев. Выступление на Четвертом съезде Союза писателей. Я там тоже был, мед-пиво в буфете пил.

И Марат там был, но даже в буфет не наведалься, сразу сбежал. «Пыльцой» на нудном сборище не пахло.

Ушел он и из коридора. Фрондерское зубоскальство над «совреалиями» (это слово здесь произносили морщась) его не забавляло. Чем-то это напоминало хихиканье над барином в людской. В глаза «ваше сиятельство» и поклон, за спиной – гримасы и верчение пальцем у виска. Уж или одно, или другое. Марату больше импонировал стиль покойного Кондратия Григорьевича, который предпочитал держаться от «барина» на отдалении, но и вольнодумством не бравировал.

В столовой было очень много народу. Там читала новые стихи Белочка. Нервная, трепетная, с пушистым хвостом рыжих волос, качавшимся, когда она встряхивала головой, поэтесса была действительно очень похожа на белку, да не какую-нибудь лесную, а ту самую, пушкинскую. Гривас говорил, что всё совпадает: лучшие ее стихи – чистый изумруд, не лучшие – скорлупки золотые, и Белочку тоже «слуги стерегут», поскольку она всегда окружена преданными поклонниками.

– Следующая работа назвала себя «Мой день», – сказала Белочка вялым сонным голосом. Она именовала стихи «работами» и утверждала, что они сами объявляют ей свое имя.

Прозой Белочка всегда говорила сонно, оживала только декламируя стихи. Вот и сейчас она встрепенулась, подалась вперед и ввысь, хвост метнулся вправо и влево, голос завибрировал.

О как прозрачно и лучисто,

Младенец мой, мое растенье,

Стартует день, простой и чистый,

Мой первый снег, мой дождь весенний.

Ах утро, утро, ты – подснежник!

Сквозь наст лежалый пробиваясь,

Ты знаешь только слово «нежность»,

Тебе неведома усталость.

Марат перестал слушать. Было у него такое полезное умение, которое часто уберегало от «не пыльцы» на обязательных собраниях, при скучных беседах или на спектакле, с которого нельзя сбежать. Просто убавлял звук до минимального, и слова сливались в безобидный рокот.

Белочкины стихи Марату не нравились. Как и их авторесса. Белочка требовала, чтобы про нее говорили или «поэт» или «авторесса», ни в коем случае не «поэтесса» или «автор». Она объясняла почему, но Марат забыл. Он органически не выносил аффектации – ни в жизни, ни в творчестве. Белочка же была сплошной излом. Ни словечка, ни жеста в простоте.

Тонкая рука авторессы взлетала к потолку, трепетала. Марат смотрел на руку с неудовольствием – она была неискренняя, утлая, предательственная.

Марат знал про себя, что он «ручной фетишист». Это была своего рода obsессия. При всяком знакомстве он сразу смотрел на руки – и узнавал про нового человека больше, чем из разговора или визуального впечатления. У него сложилась целая внутренняя наука, «маногномия», выработанная за годы жизни.

В свое время Марат влюбился в будущую жену, потому что в своей убогой уральской юности ни у кого не видел таких ухоженных ногтей. Собственные руки он терпеть не мог – какие-то коряги с кочерыжками.

Из столовой Марат ушел бы сразу, не дожидаясь Белочкиных завываний, но рядом с дверью у стены стояла Дада?, хозяйка дома. Слушала декламацию со своей прославленной полуулыбкой, держала в длинных пальцах дымящуюся сигарету. Вот у кого были прекрасные руки – глаз не отвести!

Дада с Гривасом являли собой совершенно ослепительную пару. Он – мастер тонкой, минималистской новеллы, она – советская Анни Жирардо. Никогда не участвовала в разговорах, только полу-улыбалась, но очень умно и многомерно. Она и на экране ничего другого, кажется, не умела, но этого хватало, чтобы считаться (цитата из журнала «Советский экран») «самой интеллигентной красавицей отечественного кинематографа».

Тем временем Белочка уже дошла до конца своего минорного дня, полного несбывшихся надежд и горьких разочарований.

Моя цикута, черный кофе.

Я на Луну по-волчьи вою.

Люстрина блеск на черной кофте —

Ночное небо над Москвою.

Кто-то негромко сказал: «Сильно». Все захлопали, а Марат вышел, чтобы вернуться попозже – заметил в дальнем углу, на стульчике, Алюминия, который сидел, опершись подбородком на гитару, рядом на столике магнитофон «Яуза». Значит, будет петь. Алюминий был звезда «магнитиздата», его песни слушала и пела если не вся страна, то вся интеллигенция. Вот они Марату нравились. Никакого «люстрина на черной кофте», стихи по форме очень простые, а по содержанию – зависит от слушающего. Они были легкие и светлые, но в то же время с каким-то металлическим звоном, отсюда и прозвище, очень точное. Алюминий обычно пел в самом конце, когда все наговорятся и нашутятся.

В гостиной, очень странной комнате, где мебель была дореволюционная, а картины ультрасовременные, по большей части абстрактные, царствовал Гривас.

Он по-приятельски подмигнул вошедшему Марату, не прерывая рассказа.

Говорил про интересное – про недавнюю поездку в Америку. Совсем не то, что было напечатано в его путевых очерках. Там, в «Литературке», Гривас описывал антивоенное движение, растерянность американского общества после убийства еще одного Кеннеди, отличных ребят из «Черных пантер», с которыми встречался на конспиративной квартире.

Здесь же, своим, Гривас говорил про другое.

– Там в воздухе веет революцией. Не такой, как у нас – «бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу», – а настоящей, в мозгах и сердцах. Как будто новая порода людей... нет, даже не порода, а новый подвид homo sapiens вдруг появился.

Гривас был серьезен, что с ним случилось нечасто. Обычно он насмешливо щурился, кривил рот под гоголевскими усами, беспрестанно ёрничал.

– Что самое мерзкое в нашем союзе нерушимом республик свободных, где так вольно дышит человек? Хамство, ошетиненность, агрессия. Любят только своих, все чужие вызывают настороженность. А в коммунах хиппи, по которым меня возил Алан, любят всех – априорно, без разбора. Видят первый раз в жизни, и готовы принять, обнять, всем поделиться. Если ты оказался скотиной – тогда, конечно, отворачиваются. Но всем правит презумпция невинности. Пока не доказано, что ты сволочь – ты друг, товарищ и брат. Это моторней всякого толстовства. Потому что никто не нудит, не проповедует, не лезет в душу. А главное, всё в кайф. Кругом только молодые, прикольные, легкие. Маленько прикумаренные от марихуаны, но она не тяжелит и не вызверяет, как водка, а наоборот, подкидывает в воздух, наполняет любовью ко всему миру и всем людям.

– Покурил? – спросил кто-то с завистью.

– Под 225-ую подводишь, начальник? – цыкнул воображаемой фиксой Гривас. – А свидетели у тебя есть?

Все засмеялись.

– Про сексуальную революции расскажи, – попросила брюнетка с несколько лошадиным лицом, одетая в мешковатую хламиду. Наверное, какая-нибудь художница. Марат ее видел впервые. Руки некрасивые, с костлявыми пальцами и хищными красными ногтями.

– Дада далеко? – Гривас с преувеличенной пугливостью оглянулся на дверь, понизил голос. – Короче привозит меня Алан в одно комьюнити под Сакраменто. Называется «Нуд парадаиз», «Голый рай». Там все разгуливают в чем мать родила. И все гости тоже должны на въезде сдавать одежду. Мне куда деваться? Писательская командировка. Растелешился. Иду такой застенчивый, срам ладошкой прикрываю. Верчу башкой. Как в стихотворении: «Взглянешь налево – мамочка-мать, взглянешь направо – мать моя мамочка!». Подходит ко мне умопомрачительная Ундина, из гардероба только кувшинки в волосах. Говорит: «Ты чего закрываешься? Не стесняйся, у античных статуй дик тоже маленький. Мне такие даже нравятся». Ну мне в этом смысле, некоторые в

курсе, стесняться нечего...

Дальше Марат слушать не стал. Про революцию в мозгах и сердцах ему было интересно, про «дик» Гриваса – нет. Переместился на кухню.

Там тоже говорили про иностранное. В текущем тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году самые интересные события происходили за рубежом, в СССР было затхло и скучно. Особенно по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Тогда всё задвигалось, зашевелилось, скинуло паутину. Двери не открылись и замки на них остались, но распахнулись окна, хлынул свежий воздух и солнечный свет. Происходили удивительные события, появились новые яркие люди – вот эти самые, собравшиеся сегодня на «воскресник», – а ведь казалось, что бескислородные десятилетия удушили всё живое, навечно отучили подданных чугунной державы шагать не в ногу.

Но оказалось, что это было всего лишь проветривание, на окнах снова задвинулись шпингалеты, остались одни форточки, да и те едва приоткрытые.

Научный сотрудник Института марксизма-ленинизма по кличке «Коммунист-с-Человеческим-Лицом», сокращенно Косчел, постепенно превратившейся в Кощей (это был долговязый, очень тощий очкарик). Он написал книгу «Герои коммунистического Сопротивления», очень неплохую, хотя, конечно, с неизбежными недомолвками и сглаживанием острых углов – впрочем, не Марату с его «Чистыми руками» было автора в этом упрекать. Несколько дней назад Кощей вернулся из Парижа, с фестиваля газеты «Юманитэ». Видел следы майских беспорядков, когда студенты строили баррикады и дрались с полицией. Пообщался с участниками, левыми активистами – у Кощей был хороший французский.

– ...Нет, это не коммунистическая революция. Во всяком случае не в нашем, советском понимании, – отвечал Кощей на чей-то вопрос, когда Марат заглянул на кухню (она тоже была большущая, с половину его квартиры). – На советский социализм бунтари кривятся. В служебном отчете я написал, что это движение по духу не только антибуржуазное, но и антисоветское, повсюду портреты Троцкого и Мао Цзэдуна, поэтому относиться к парижским событиям следует с большой осторожностью. Маркса и Ленина идеологи «Мая» трактуют весьма своевольно – даже не в ревизионистском, а в авантюрно-волюнтаристском ключе. Но отчеты пишутся для начальства, а если говорить «не для протокола»...

Кощей сделал паузу, оглядывая слушателей, и задержал взгляд на Марате, кажется, не сразу сообразив, кто это. Потом вспомнил, кивнул.

– Давай-давай, колись, – поторопили его. – Тут все свои, стукачей нет.

– У меня сложилось впечатление, что это бунт не классовый и не социальный, вообще не политический, а исключительно поколенческий. Если угодно, стилистический. Старики и всё старое надоели молодежи. Знаете, каков главный лозунг «гошистов», как они себя называют, лозунг, объединяющий маоистов, троцкистов, анархистов, чегеваристов и всех-всех-всех? «Il est interdit d'interdire». «Запрещается запрещать». Такой бунт непослушания, мятеж против установленных стариками правил. Типа «нам ничего вашего не нужно». Ни вашего геронтоцентричного социального устройства, ни вашей лицемерной морали, ни вашей неудобной одежды, ни вашей слюнявой музыки, ни морщинистых рож ваших вождей. У нас всё новое, всё свое, небывалое прежде.

– Ой, я хочу в «гошисты»! – воскликнула девица с длинными распущенными волосами, по лбу перехваченными ремешком. Кажется, она пришла со скульптором Эдиком, у него часто менялись подружки. – Где бы записаться?

– Помолчи, – толкнул ее локтем brutальный Эдик. – Не мешай слушать.

– Кумира прежних поколений Де Голля они зовут «Генерал Нафталин». Наше политбюро, – Кощей понизил голос, – для них «дом престарелых». «Ваш Брежнефф – старик за шестьдесят, пусть сидит с внуками», – сказал мне один поклонник хунвейбинов. Я ему в ответ: «А твоему Мао за семьдесят». «Мао не тронь, говорит, он бодхисатва». В общем полная каша в головах.

Сзади, из коридора, Марата тронули за рукав. Обернулся – Джек. Шепнул:

– Сен-Жюст, айда в кабинет, там Коряга про Чехословакию рассказывает.

– Кто?

– Умный мужик, в Праге работает, в журнале «Проблемы мира и социализма».

Еще один коммунист с человеческим лицом, подумал Марат, но пошел. Прага сейчас была еще интересней Парижа.

В кабинете после светлой кухни показалось темно, здесь были задвинуты шторы – окна выходили на запад, где ярко светило солнце. В полумраке помигивали огоньки сигарет, кверху тянулся серый дым.

– ...После апрельского пленума ЦК КПЧ стало совсем интересно, – говорил глуховатый, слегка надтреснутый голос. – Дубчек поставил на все ключевые посты реформаторов. Двое – Смирковский, председатель Народного Собрания, и министр внутренних дел Йозеф Павел – из «отсидентов». Первый во время войны был подпольщиком, второй – интербригадовец. Крепкие орешки. Обоих в начале пятидесятых помордовали на допросах, но не сломали. Как они относятся к сталинизму – понятно. Тут «Пражске яро», «Пражская весна» развернулась уже вовсю. С нашей «оттепелью» даже не сравнивайте. Общественная дискуссия, идейный плюрализм, многопартийность, отмена цензуры – прямо голова кружится. Летят скворцы во все концы, и тает лед, и сердце тает. Вот я вам почитаю из статьи Вацулика, называется «Две тысячи слов», ее вся Чехословакия обсуждает...

Говоривший подошел к окну, слегка раздвинул шторы, подставляя журнал солнечному лучу. Марат увидел профиль: лобастая плешивая голова, шкиперская борода – для идеологического работника необычно.

– Я с листа, так что прощайте за корявость... Вот, послушайте: «Ошибочная линия руководства превратила партию из идейного союза в орган административной власти, поэтому партия стала притягивать властолюбцев, шкурников, приспособленцев, подлецов. Из-за этого изменилась природа партии, она стала производить со своими членами стыдные процедуры, без которых невозможно было сделать карьеру. В конце концов в партии не осталось людей, способных соответствовать уровню задач современности».

– И это напечатано? В официальной прессе? – недоверчиво спросил кто-то.

Парень в клетчатой рубашке, стоявший впереди Марата, выкрикнул:

– Ведь один в один! Всё, как у нас! Пока не поцелуешь их в задницу, даже диссертацию по астрофизике не защитишь! Мне завкафедрой говорит:

«Подавайте в партию, тогда рассмотрим». В гробу я видал их партию!

На него обернулись. Нравы на «воскресниках» были вольные, но не до такой степени.

Коряга тоже посмотрел на несдержанного молодого человека – с осуждением.

– Беда не в партии. Беда в партийцах. Это из-за таких, как вы, чистоплюев мы вязнем в дерьме. Я сейчас еще один пассаж прочту. «С начала этого года мы... у нас происходит процесс возрождения демократии. Начался этот процесс благодаря коммунистической партии. Мы сами, коммунисты, тем более беспартийные, скажу прямо, давно уже ничего хорошего от партии не ждали. Но ни в какой иной инстанции процесс стартовать и не мог, только в этой. Ведь последние двадцать лет хоть какой-то политической жизнью можно было заниматься только в коммунистической партии, только там зарождалась критика, только там принимались решения, только внутрипартийное сопротивление находилось в прямом контакте с противником». В этом суть, понимаете?

Стало видно, что Коряга тоже взволнован, просто в отличие от астрофизика, он не кричал.

– Чтобы изменить курс корабля, нужно находиться в рубке, у штурвала. Партия один раз уже сделала «поворот все вдруг», в пятьдесят шестом, и мы знаем, что это возможно. Скажу больше: в стране, население которой не приучено выражать свою политическую волю, только так и можно провести реформы. Как при Александре Втором – сверху. Но нас – таких, как я или Кощей – в партии слишком мало. И сейчас мы проигрываем схватку, нас теснят сталинисты. Они хотят взять реванш, хотят окончательно скомпрометировать и погубить великую коммунистическую идею!

– А она точно великая? – спросил астрофизик.

– Идея, что люди должны жить без эксплуатации, без богатых и бедных, давать обществу по способностям, а получать от него по потребностям? – удивился Коряга. – Конечно, великая. Великая и прекрасная. Проблема в методах. И в людях, которые управляют процессами. У нас в результате ужасов гражданской войны к власти пришли жестокие, безжалостные, привыкшие полагаться только

на насилие, неразборчивые в средствах вожди. Но у мирного времени иные законы – это объективный факт. В стране, которая не воюет, где нет голода, где население поголовно имеет среднее образование, а половина выпускников поступает в ВУЗы, прежние железные строгости бессмысленны, они стали анахронизмом. Нам тоже нужна своя «пражская весна». Но кто будет ее начинать, когда вы все такие брезгливые. Вот я спрошу: сколько здесь членов партии?

В комнате было, наверное, человек десять, но поднялась только одна рука – в дальнем углу.

– Ты, Аркан, не в счет, – отмахнулся Коряга. – Ты вступил в сорок пятом, в армии, у тебя выбора не было. Ни в какой партийной работе ты не участвуешь.

Марат увидел Аркана только сейчас, потому что уже давно, почти с самого начала, слушая выступавшего, почти всё время смотрел в одну сторону. У противоположной стены, в кресле сидела незнакомая девушка. Он обратил на нее внимание, потому что чиркнула спичка, и в полумраке на несколько секунд вдруг осветилось лицо и кисти рук. Лицо было совершенно прерафаэлитской тонкости и нежности, просто «Святая Лилия» Россетти, но еще красивее были руки. Такого идеального рисунка Марат никогда не видел.

Потом он всё вглядывался в густую тень, глаза привыкали к полумраку, а когда Святая Лилия затягивалась, огонек сигареты разгорался ярче, освещал узкие, твердые губы, мерцающие глаза под чуть сдвинутыми бровями.

Сзади, из коридора, появился Гривас, встал за спиной у Марата, с минуту послушал и, конечно, ввязался в разговор.

– Не знаю. По-моему, засада не в хреновых исполнителях, а в самой идее. Коммунизм – это уравниловка, все вместе, все хором, «кто там шагает правой?». А всё сколько-нибудь стоящее изобретают индивиды. Частная инициатива – вот главный двигатель прогресса. Менделеев не с коллективом товарищей периодическую таблицу открыл, и Достоевский свои романы без парткома писал.

– Писатели – дело особое, но что касается науки, то сейчас, в двадцатом веке, в одиночку ею заниматься уже невозможно – вон, у астрофизика спроси, – ответил Коряга.

Тут заговорили сразу несколько человек, и дискуссия повернула в новое русло, очень интересное, однако в этот момент Святая Лилия поднялась и направилась к выходу. Она шла прямо на Марата и, приближаясь, с каждым шагом становилась всё прекраснее. Удивительная вещь! Ему всегда нравились ухоженные, хорошо одетые, следящие за внешностью женщины – одним словом, принцессы. У этой же были небрежно подхваченные резинкой волосы, косметики ноль, одета с необычной для гривасовской компании простотой: тенниска, пятирублевые «техасы», советские полукеды. И все равно принцесса – несомненная и безусловная.

Вот она оказалась совсем рядом. Посмотрела мимо Марата, на Гриваса. Тот, подкинув тему для спора, с удовольствием прислушивался к шумному разговору.

«Что она скажет? Какой у нее голос?» – подумал Марат.

– Где тут у вас уборная? – спросила принцесса. Голос у нее был хрипловатый, прокуренный.

– Для вас – где пожелаете, – галантно поклонился хозяин квартиры, но показал в дальний конец коридора.

– Ясно, – кивнула она, не улыбнувшись так себе шутке.

Марат тихо спросил, глядя вслед:

– Кто это?

– Штучка, да? – усмехнулся Гривас. – Эх, будь я побезнравственней... Но увы. Во-первых, женат. Во-вторых, труслив. В-третьих, благороден. Девица вверена моему попечению почтенным родителем. Слышал про Юлия Штерна, академика?

– Это какой-то физик?

– Не какой-то, а ого-го какой. Если не отец, то дядя водородной бомбы. Дважды герой соцтруда. Мы с ним на Петровке в теннис играем. Потрясающе интересный чел. Ум, как золинген. Попросил приветить дочурку. Нервничает, что она корешует с неправильной компанией. Познакомьте, говорит, ее с каким-нибудь

писателем или на худой конец поэтом. Ну, я и позвал мадемуазель на «воскресник». Диковатая немножко, но феромонами так и пышет.

- Я - писатель, - сказал Марат. - Познакомь ее со мной.

- Ничто человеческое ему, оказывается, не чуждо, - заржал Гривас. - Пойдем, примем ее прямо на выходе из сортира. Дама будет смущена, это обеспечит тебе стратегическое преимущество, поверь ловеласу в отставке.

- Это неудобно, давай лучше здесь подождем, - запротестовал Марат, но был обхвачен за плечо и проташен по коридору прямо к двери с золотыми буквами WC - Гривас хвастал, что стырил табличку в музее Ватикана, на память.

Когда раздался звук спущенной воды, Марат задергался, но лапы у Гриваса были железные, он имел разряд по самбо.

Открылась дверь. Дочь академика вытирала свои удивительные руки об штаны. Немного удивилась, но смущения не выказала.

- Агаша, хочу вас познакомить с не очень молодым, но очень талантливым прозаиком Маратом Р., - весело объявил Гривас. - Фамилию полностью не называю из ревности - она и так у всех на слуху. Вы, конечно, читали повесть «Воскресная поездка»?

- «Агашей» меня зовет только отец, - спокойно ответила девушка. - Вы, Григорий Павлович, пожалуйста, зовите меня «Агата». Повесть я читала. У вас туалетная бумага кончилась. Давайте я принесу. Где вы ее держите?

- Ай-я-яй, - укорил ее Гривас. - Такая романтическая внешность, имя - как у героини Грина: Агата Штерн, почти Фрэзи Грант, и такая приземленность. Бумагой займусь я, а вы идите, беседуйте о литературе.

Тайком подмигнул - и бесшумно, на цыпочках удалился.

- Ну и как вам? - спросил Марат. - Я имею в виду повесть?

Он догадался, что не понравилась – иначе Агата не сменила бы тему, но почему-то, должно быть, из вечного мазохизма, захотелось, чтобы она сказала неприятное прямо в глаза. По девушке было видно, что на вежливую ложь рассчитывать не приходится.

Так и получилось.

Пожала плечом:

– Еврейская грамота.

– То есть?

– Ну, как еврейский текст. Одни согласные, без огласовок. Нужно угадывать тайный смысл.

Сравнение было меткое. Марат оценил.

– И в чем же, по-вашему, тайный смысл?

– Ясно в чем. СТЛНЗМНХЙ.

Он не сразу сообразил, а когда дошло – покраснел. Матерные слова не выносил с интерната – потому что все вокруг только ими и разговаривали, а особенно не любил, когда матерятся женщины.

– Почему у вас вместо имен героев буквы? «Н.», «Б.С.», «Р.В.». Алфавит какой-то. Ясно же, что речь идет о реальных людях, и вы не хотите, чтобы их забыли. К чему тогда конспирация? Как их звали по-настоящему?

Агата задавала вопросы безо всякого вызова. Просто спрашивала.

– Зачем вам? – поморщился Марат. Ему сделалось досадно и тоскливо. – Вам ведь это неинтересно.

Он хотел повернуться и уйти. Гудбай, племя молодое, незнакомое. Мы друг другу не нужны, и это к лучшему.

Но Агату его слова, кажется, удивили.

- Было бы неинтересно - не стала бы спрашивать. И читать до конца не стала бы. А я дочитала. И мне понравилось. Недомолвки только раздражали. Нет, правда, кто были все эти люди?

Зеленые глаза смотрели требовательно, брови на белом и гладком (в прошлом веке написали бы «алебастровом») лбу слегка приподнялись.

- Если вам действительно интересно, давайте я свожу вас на Донское, к моим героям, - неожиданно для самого себя сказал Марат - и перепугался. Быстро прибавил: - Только я всю неделю буду занят. Смогу в следующее воскресенье. И вы обязательно позвоните накануне - мало ли что. Сейчас дам телефон. Вырву страничку из блокнота. - Кривовато улыбнулся. - У писателей, знаете, всегда при себе блокнот на случай гениального озарения...

Решил, что запишет номер с ошибкой - вдруг остро почувствовал, что такая экскурсия до добра не доведет. Не нужно ему больше видеться с этой Агатой Штерн.

Но она сказала:

- Не надо. Я возьму у Григория Павловича.

И Марат успокоился. Не возьмет и не позвонит.

Сэйдзицу

Роман

Часть Первая

Я. Х. Петерс (1886–1938)

* * *

Жизнь представлялась ему зеленым футбольным полем, никогда не кончающееся «сейчас» было круглым и упругим, как кожаный мяч, и надо было звонко бить по мячу ногой, подкидывать его в золотистый воздух, бежать вслед за вертящимся кругляшом и в прыжке заколачивать бутсой, коленом, лбом, а хоть бы, если никто не видит, и рукой в вожделенные ворота, и чтоб трибуны вопили от восторга, и заливался свисток, и хмельно кружилась голова: «Гол! Гол! Гол!».

Яков мог быть только форвардом, только атакующим, только первым. Но став еще и капитаном команды, после того как Феликса отправили на штрафную скамью, каждым атомом своей души – химеры, выдуманной попами и мистиками, каждой клеткой плотно сбитого тела, которое уж точно химерой не являлось, он впервые ощутил, что его внутренний газ наконец заполнил всё предназначенное ему пространство. Наполнившись пузырястой легкостью, Яков и сам взлетел над стадионом, над головами других игроков и чувствовал, что может выиграть матч с разгромным счетом, всухую.

Не меньше, чем футбол, руководитель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии любил Шекспира, старался формулировать свои мысли чеканным бардовым слогом, презирающим мелкое, а секретных сотрудников нарекал именами шекспировских персонажей, о чем впрочем никто не догадывался. Два веселых латыша, Спрогис с Буйкисом, в разворачивающейся пьесе были Розенкранцем и Гильденстерном, а в команде – хавбеками.

– Товарищ Петерс, мы поймали щуку, – сказал Спрогис, блестя шальноватыми светло-голубыми глазами. Губы у него всегда были готовы к улыбке – тянулись уголками кверху.

– Большую-пребольшую, – подхватил коренастый темноволосый Буйкис. – Вот такую.

Развел руки, показывая размер добычи.

Еще они похожи на спаниелей, притащивших из болота утку, подумалось Петерсу. Он в свои тридцать два был лет на десять, то есть на целую вечность, старше этих мальчишек, вчерашних подпоручиков, которые ничего кроме войны в своей коротенькой жизни не видели и после окопного ужаса относились к новой службе как к увлекательному и неопасному приключению. Розенкранц-Спрогис был половчей, но и поновистей, запросто мог выкинуть какой-нибудь фортель. Гильденстерн-Буйкис соображал небыстро, зато на него можно было положиться. Яков намеренно свел их вместе. В одиночку ни тот, ни другой с заданием не справились бы, а вдвоем, на распасовке, получилось то, что надо.

– Ну хвастайтесь, – сказал председатель ВЧК, выколачивая из трубки серую труху на сложенную вчетверо газету. Он пока не обзавелся пепельницей, не до того было. Прежний же хозяин кабинета не курил.

Разговор шел на латышском. За пять недель, прошедших после отставки Феликса, Яков основательно почистил личсостав, зараженный левоэсеровской гнилью. Брал только тех, в ком был уверен, и больше всего доверял землякам. Никакого национализма, старый подпольный принцип: работай только с теми, кого знаешь. Латыш чем хорош? Про каждого известна вся подноготная – кто, откуда, как себя вел раньше, чем живет, чего стоит. Товарищи, родственники, знакомые всё расскажут. Человек как на ладони.

– Удалось выйти на Подводника?

Спрогис подмигнул приятелю.

– Мало нас с тобой, Янис, начальство ценит. Мы, товарищ Петерс, на Подводника не просто вышли. Мы его из-под воды вытащили. За жабры.

– Кончай трепаться, – сказал Буйкис. Он считал, что всему свое время и место. Шутки шутят за бутылкой, а в солидном разговоре с солидным человеком нужна солидность. – Мы, товарищ Петерс, с ним встретились дважды. Первый раз позавчера, в гостинице «Французская». Сказали ему всё, как уговорено. В латышских частях большевиков не любят, все хотят на родину, но там немцы, без Антанты их оттуда не прогнать. Поэтому мы, бывшие офицеры, желаем знать, какие, мол, у вас, у Антанты, планы насчет Латвии. Кромь послушал,

ничего не сказал. Только записал наши имена. Назначил встречу на следующий день.

– Это он проверял, действительно ли мы офицеры, – встрял Розенкранц. – Вы говорили, товарищ Петерс, что он обязательно будет проверять по своим каналам.

– Выяснить бы, что это за каналы. А как прошла вторая встреча?

– Вчера он не молчал, задавал вопросы. Про нашу организацию. Особенно его Девятый полк интересовал.

– Так-так, – нахмурился Яков. Девятый латышский полк нес комендантскую службу – охранял главные правительственные учреждения, включая Кремль. – Что было потом?

Спрогис подмигнул товарищу, сделал невинное лицо.

– А потом мы сели на поезд и вернулись из Петрограда в Москву.

Буйкису опять стало неудобно за легкомыслие товарища. Он повторил:

– Кончай трепаться, тут дело серьезное. Доставай, показывай. Подводник нам дал записку к Локкарту. Конверт мы вскрыли, не повредив сургуча – как учили. Но там на английском, а мы только немецкий знаем.

Быстрым, как у кошки, цапающей муху, движением Яков выхватил у Розенкранца конверт, вынул листок и прочитал несколько строк, написанных ровным почерком. Не поверил удаче, прочитал еще раз.

Британский военно-морской атташе Френсис Кроми рекомендовал мистеру Роберту Брюсу Локкарту выслушать подателей письма, чья личность установлена и проверена, по вопросу, представляющему для «господина главы миссии» несомненный интерес.

– Проголодались в дороге? – спросил Яков ровным голосом. Только те, кто очень хорошо его знал – двое или трое людей на свете, – уловили бы во внезапной

глуховатости тембра волнение. – Идите в столовую, поешьте. Сегодня дают отличный гороховый суп и пшенную кашу с американскими консервами. Потом снова ко мне. Марш-марш! Полчаса у вас. Скажете: Петерс велел накормить вне очереди. И дать добавки.

– Вот умеет советская власть награждать, – оскалился Спрогис. – А то наглотался я под Иксюлем немецкого газа, и что? «Владимира с мечами» от царя-батюшки получил. То ли дело добавка пшенки!

Но Буйкис уже подпихивал его к двери, шипел:

– Толай, толай. Товарищу Петерсу подумать надо.

Оставшись один, Яков вскочил из-за стола, подошел к окну, забарабанил по стеклу. В Петерсе жило два человека, внешний и внутренний. Первого – невозмутимого, флегматичного, неспешно ронявшего скупые слова – видели все. Второй был порывист, нервен, азартен, его надо было прятать. Только наедине с собой Яков давал внутреннему себе немного свободы.

Широко открытые серые глаза смотрели не на улицу Большая Лубянка, не на скучный дом напротив с надписью «Столовая», а выше, выше: в сизое августовское небо, похожее на грунтованный холст – рисуй на нем, что захочешь.

Эскиз будущего полотна, или сюжет пьесы, или план футбольного матча – все эти метафоры годились – выглядел головокружительно интересным.

Однажды Ильич, самый умный человек на свете, сказал: «У всякого политика, который чего-то стоит, общественный интерес должен быть личным, а личный – общественным. Малейшая дискордия между общественным и личным недопустима. Ты делаешь большое общественное дело, потому что оно позарез нужно лично тебе. Тогда и только тогда ты достигнешь цели».

Разговор был втроем, и обращался вождь к Феликсу. Яков сидел, помалкивал. Но мысль ухватил сразу. Она была, как всегда у Ильича, ослепительно простая и бесспорная. Феликс-то не оценил, проскрипел своим надтреснутым голосом, что давно отказался от всего личного. Проблема Феликса в том, что он прямолинеен и несгибаем, как широкий стальной меч, в нем нет творческого извива, жизнь

для Феликса – не каскад увлекательных приключений, а череда тяжелых испытаний. Яков тоже был стальной, но узкий и гибкий – как рапира. Чрезвычайная Комиссия, созданная, чтобы защищать республику от прячущихся в траве рептилий, должна быть такой же, как они – изгибистой.

И да, тысячу раз да: личный интерес должен стопроцентно совпадать с общественным, а общественный с личным.

После того как Феликс проморгал левоэсеровский заговор, угнездившийся прямо у него под носом, Ильич отправил верного, но близорукого соратника в отставку. Комиссию возглавил Яков. Но в качестве «временноисполняющего». Феликс не потерял своего главного – да что там, единственно значимого звания: он остался для Ленина ближним. Таких во всей партии имелось пять или шесть человек, все из старой гвардии. Яков-то был, увы, из молодой гвардии. Не только по возрасту. В эмиграции он жил не в Швейцарии, близ Ильича, а в Англии. И вернулся поздно, попал в Петроград уже к шапочному разбору, только в октябре. Ближним ему никогда не стать. Путь наверх только один: доказать свою полезность, а еще лучше незаменимость.

Теперь, когда он стал капитаном команды, пускай временным, такая возможность появилась. Упускать ее нельзя.

Это, стало быть, личное.

Но и общественное требовало, чтобы во главе ЧК остался Яков Петерс. Он был нужен республике. В отличие от Феликса, он понимал: выиграть матч можно только атакуя. Лучшая защита – нападение. Без атаки голов не забьешь.

Республика была хилым младенцем, который вряд ли доживет до годовалого возраста. Инфекции и нарывы подтачивали слабое тельце, корчившееся в судорогах – очень возможно, предсмертных. Сжавшаяся под натиском советская территория на карте напоминала череп, мертвую голову.

Весь запад захвачен германцами. На юге белогвардейцы идут на Екатеринодар, Кубань обречена. Весь восток откололся. На дальнем краю великой Евразии высадились японцы, сибирскую магистраль захватили чехи, но и по эту сторону Урала дела идут хуже некуда. Казань пала, эвакуированный туда золотой запас государства достался контрреволюционерам; в Прикамье против большевиков

восстали не кулаки или приспешники буржуазии, а рабочие, самая что ни на есть пролетарская масса, коллективы военных заводов. Рабочие против партии рабочего класса – каково?

А хуже всего на севере. На позапрошлой неделе в Архангельске началась высадка союзников. Немцы обескровели от долгой войны, белогвардейцы разрозненны и не столь уж многочисленны, чехи хотят только одного – поскорее вернуться домой, японцев интересует лишь Дальний Восток, но Антанта набрала силу, наступает на Западном фронте и теперь, кажется, вознамерилась окончательно решить «русскую проблему».

Ключевое слово здесь «кажется». Вознамерилась или нет? Сил, денег, ресурсов у британцев, французов и американцев для этого более чем достаточно, но их дипломатические представители уверяют, что десант не ставит своей целью свержение советской власти, а является лишь предохранительной мерой против наступления германцев из Финляндии.

В прошлый четверг на заседании Совнаркома Ильич сказал, что сейчас архиважно вызнать истинные намерения Антанты. Если она готовит наступление, нужно махнуть рукой на второстепенные фронты и срочно стягивать все боеспособные части к Москве и Петрограду. Они – мозг и сердце революции. Пока работает мозг, пока бьется сердце, Советская власть будет жива. Вождь предложил не рисковать и начать эвакуацию на юге и востоке прямо сейчас, не теряя времени. «Я готов отдать Волгу, Дон, всё Черноземье, лишь бы спасти наши столицы. Если же товарищи со мной не согласны, я уйду с поста председателя Совета Народных Комиссаров, ибо промедление подобно гибели», – так закончил он свое драматичное выступление. «Коня, коня! Венец мой за коня!» – некстати вспомнился Якову король Ричард на Босвортском поле.

Все мрачно молчали, один Петерс ощущал трепетное kloкотание в груди. Он знал: это его Тулон. Негромким, спокойным голосом временный председатель ВЧК попросил обождать с эвакуацией. Через неделю, максимум через десять дней я доложу Совнаркому об истинных планах Антанты, сказал он. Ильич посмотрел прищуренно, с полминуты помолчал, потом кивнул. Поверил. Подвести его – поставить крест на своем будущем и погубить революцию. Оправдать оказанное доверие – спасти общее дело и покончить с «временностью». Личное совпадало с общественным на сто процентов.

Кто мог знать о планах союзников? Представители трех главных держав Антанты, находившиеся в Москве: британский поверенный Локкарт, американский генконсул Пуль и французский генконсул Гренар. Но они правды не скажут. Нужно было получить требуемые сведения каким-то извилистым образом.

В настоящей, обстоятельно устроенной контрразведывательной службе для этого имеются дешифровальщики, внедренные или подкупленные секретные агенты, специалисты по тайным обыскам. В ЧК же служили бывшие политкаторжане, вчерашние рабочие, недоучившиеся студенты. Ни знаний, ни опыта. Денег на подкуп посольского персонала нет, не хватает даже стульев в кабинетах, а председатель стряхивает пепел на свернутую газету.

Подобраться к иностранным дипломатам, мастерам извилистых наук, никакой возможности вроде бы нет.

Яков расхаживал по замызганной ковровой дорожке, оставшейся со времен, когда в доме на Лубянке 11 находилось страховое общество «Якорь», ерошил жесткие волосы, подгонял мозг: думай, думай.

Глава дипломатической миссии сам тайными делами не занимается, для этого у каждого из них должен быть специальный помощник. У французов это, по видимому, военный атташе Лавернь. Или, может быть, полковник Вертеман – он тоже подозрительно активен. Но который из них? Времени выяснять не было. Про распределение полномочий у американцев ничего не известно, к тому же их войска прибыли в Европу совсем недавно, и президент Вильсон выступает не за прямую интервенцию, а за экономическое давление на коммунистическую республику. Агрессивнее всего настроены британцы, и кто в их представительстве ведает разведкой отлично известно: морской атташе Френсис Кроми, который остался в Петрограде, потому что у англичан там с дореволюционных времен собственный телеграфный пункт, обеспечивающий мгновенную связь с Лондоном. Депеши шифруются мудреным кодом, взломать который невозможно, да и некому. Товарищи из петроградской ЧК, конечно, плотно следят за капитаном, вокруг которого постоянно крутится всякая контрреволюционная сволочь, но оперативная информация в данном случае ничем не поможет. Раз в неделю Подводник (это агентурная кличка Кроми, он на войне командовал субмариной) приезжает к Локкарту в Москву, но подслушать их беседу ни разу не удавалось.

И всё же добраться до британского поверенного можно было только через капитана Кроми. А что если закинуть крючок?

Допустим, англичане намерены, собрав в Архангельске достаточное количество войск, идти на Москву. В этом случае их наверняка соблазнит возможность устроить мятеж, а то и переворот прямо в большевистской столице. После июльского восстания левых эсеров, едва не захвативших власть, эта перспектива покажется Подводнику вполне реальной. Всем известно, что лейб-гвардией советского правительства являются латышские части, единственный контингент Красной Армии, где сохранилась дисциплина. Как поведет себя Кроми, когда узнает, что у советских янычар существует тайная организация, ищущая контактов с Антантой? Если англичане не вынашивают воинственных планов, Подводник просто проинформирует об этом лондонское начальство. Если же готовится наступление, немедленно даст знать о заговоре в Москву, Локкарту.

Так оформилась идея. Дальнейшее было делом техники: подобрать годных исполнителей, подробно их проинструктировать и ждать результата.

Выбор оказался правильным. Двое вчерашних подпоручиков, позавчерашних студентов не могли не понравиться бравому моряку своей бесшабашной щенячьей отвагой, которую не подделаешь. Кроми тоже смельчак, чуть ли не единственный англичанин, награжденный за военную доблесть русским георгиевским крестом. Birds of a feather flock together[4 - Рыбак рыбака видит издалека. (Буквально: «Птицы одного оперения слетаются друг к другу».)].

Времени для поэтапного внедрения не было, Яков сделал ставку на психологию: на то, что сработает механизм инстинктивного доверия, и на то, что, с точки зрения британского разведчика, дилетанты-чекисты совершенно неспособны разработать сколько-нибудь сложную операцию.

Это правда. Раньше были неспособны. Но теперь в футбольной команде новый капитан.

К моменту, когда наевшиеся пшенки приятели вернулись из столовой, Яков уже всё обдумал. Он подробно объяснил, что нужно делать, притом дважды: сначала самую суть – чтобы ухватил шустрый Розенкранц, потом подробно для

тугодумного, но внимательного к деталям Гильденстерна.

На прощание пожал обоим руку.

– Всё, ребята. Начинается второй тайм. Или второй акт – это как вам нравится. Завтра утром отправляйтесь к Гамлету.

Спрогис засмеялся. Буйкис, подумав, спросил:

– К какому Гамлету?

* * *

Глава британской специальной миссии Роберт Брюс Локкарт, в отсутствие полномочного посла представлявший в Москве интересы его величества короля Георга, был ровесником Якова Петерса и тоже любителем футбола, только не метафорического, а обыкновенного. Еще он любил балет, остроумную беседу под хорошее вино и Муру. Обстоятельства сложились так, что основную часть времени Локкарту приходилось заниматься большой политикой, то есть делать историю, и он очень старался соответствовать своему положению, но не отказывался и от личных пристрастий: футбола, балета, приятных застолий и, конечно, Муры – Марии Игнатьевны Бенкендорф, самой восхитительной женщины на свете, которой незвратно, не уверенному в себе, до сих пор не разучившемуся краснеть Роберту не видать бы как своих ушей, если бы дерево русской жизни не закачалось под ураганным ветром и с оголенных веток не посыпались бы золотые яблоки.

Мура была золотым яблоком. Она сияла бы, переливалась несказанными искрами, даже упав в грязь. Локкарт и подобрал ее почти в грязи – в несчастном, разоренном Петрограде, голодную, выгнанную из прелестной квартиры, которую реквизирует комитет бедноты. В Совдепии 1918 года стать подружкой английского дипломата было все равно что пару лет назад попасть в фаворитки какого-нибудь императорского высочества – да нет, несравненно ценнее, ибо при старом режиме великий князь мог только дарить любовнице бриллианты, а при новом режиме положение подружки мистера Локкарта сопровождалось привилегиями не просто дефицитной, а почти недоступной роскоши: неприкосновенностью и безбедностью. Эти ценности Мария Игнатьевна ставила

на высшее место в жизни и любила человека, который их обеспечивал, почти так же сильно, как он ее.

Утром четырнадцатого августа влюбленные сидели за завтраком в локкартовской резиденции (Хлебный переулок, дом 19), которая благодаря Муриной кошачьей домовитости превратилась в уютнейшее жилище, притом без малейших признаков мещанского благополучия. Даже хозяйка снобского лондонского салона не нашла бы, к чему здесь придраться. Небрежность и продуманность, богемность и удобство сочетались так естественно, что казалось – никак по-другому обставить апартаменты и нельзя.

Такою же была и Мария Игнатьевна. В каждом ее движении и слове, во взгляде спокойных улыбчивых глаз, в нежном рисунке полного рта, в звуке лениво-протяжного голоса ощущалась какая-то неизъяснимая природность. Мура никогда не разряжалась и при этом всегда выглядела нарядной. Любая женщина рядом с ней казалась или серой мышью, или чрезмерно расфуфыренной щеголихой.

Завтракали так, словно не было ни разрухи, ни голода, ни нормы в полфунта черного хлеба на едока. Яйца всмятку, бекон, белый хлеб с маслом и джемом, отличный цейлонский чай. Разговаривали про приятное – от бесед на политические темы у Муры начиналась мигрень. Она была вдова, ее мужа в прошлом году убили крестьяне. Мария Игнатьевна заставила себя об этом забыть (это была женщина очень сильной воли), но от слов «революция», «большевик», «интернационал» или «диктатура пролетариата» в висках у нее сами собой возникали спазмы.

Сначала обсудили вчерашний балет. В Большом давали «Жизель», заглавную партию танцевала Федорова. Было божественно, но зрительный зал ужасно пыхал махоркой, от которой у Муры разболелась голова. Вернувшись домой, она выпила лауданум и сразу уснула.

Потом Роберт стал рассказывать про предстоящий матч с командой французских дипломатов и журналистов. Увлекся, принялся рисовать на салфетке разработанную стратегию игры. Мура слушала превосходно: кивала, улыбалась, подавала короткие, точные реплики. Тут не было притворства, она всегда моментально и естественно проникалась интересами собеседника, о чем бы тот ни говорил. Рядом с ней всякий чувствовал себя прекрасным рассказчиком. Это было одним из секретов ее феноменальной прелести.

– Веллингтон однажды сказал, что на поле боя «Бонни» – так он называл Бонапарта – стоит пятидесяти тысяч солдат, – возбужденно объяснял Локкарт. – Во французской команде таков Лавернь. Он старый, ему, я думаю, лет пятьдесят, поэтому бегают он мало, все время держится в защите, но отлично видит поле и подает безошибочные команды, а голос у него зычный. Атака у французов слабая, весь их расчет на случайные прорывы, но оборона железная. Через Лаверня пробиться очень трудно, а голкипером у них Садуль, проворный и цепкий, как обезьяна. Смотри, что я придумал. – Он повел ложечкой по бумаге. – Дик погонит мяч вот здесь, по левому краю, у него отличный дрибблинг. Оттянет на себя троих, а то и четверых. Как только туда же кинется Лавернь, Дик дает мне длинный пас направо, и я с лету, левой ногой, бью в пустой правый угол. Мы отработывали этот маневр полтора часа, и у меня стало неплохо получаться.

– А забив гол, вы сможете перейти в глухую оборону! – увлеченно подхватила Мария Игнатьевна. – Пусть атакуют французы, нападение у них слабое. Вы победите один-ноль. И кубок Москвы наш!

– Вся ставка на мой удар. Промахнусь – другого шанса не будет. Во второй раз Лавернь на такое не поведется. Честно говоря, я нервничаю.

Он сейчас выглядел совсем мальчишкой, Мура смотрела на него с материнской нежностью, хотя была шестью годами младше. Она принадлежала к редкой породе людей, кто рождается на свет уже взрослыми и всю жизнь живет, терпеливо принаравливаясь к повадкам детского сада, именуемого человечеством.

– Нервничать тебе полезно. Ты концентрируешься. Когда ты чересчур в себе уверен, ты делаешься рассеян. И в результате капаешь яйцом на скатерть.

Она сняла желтую каплю пальцем, протянула ему, чтобы слизнул. Оба рассмеялись. Они чувствовали себя счастливыми. Утро было ясное и свежее, день только начинался.

– И все-таки, – сказала Мария Игнатьевна, – мы не решили, куда пойдем вечером – снова в балет или в «Подполье». Я за «Подполье», нужно перемежать возвышенные развлечения с вульгарными.

Москва тысяча девятьсот восемнадцатого года была очень странным городом. По карточкам выдавали скверный хлеб, состоявший из муки всего на тридцать процентов, все ходили в обносках и опорках, но в театрах шли прекрасные спектакли, у спекулянтов можно было достать хоть трюфели, а в потайных местах, без вывесок, несмотря на все запреты, преспокойно существовали подпольные злачные заведения. Самое популярное кабаре, расположенное в одном из охотнорядских закоулков, так и называлось – «Подполье».

Роберт был за балет, Мура – за кабаре. Решили бросить монетку. Серебряный царский двугривенный – они продолжали ходить и теперь стоили двадцать рублей керенками – подлетел вверх, но упал мимо подставленной Локкартом ладони, потому что раздался дверной звонок.

Для посетителей время было необычное.

Заглянул лакей Доббинс, служивший в московском консульстве уже двадцать лет, но не утративший ни йоты английскости.

– К вам двое военных джентльменов, сэра. Говорят, дело сугубо конфиденциальное.

– Проведите их в приемную. И оставайтесь с ними, пока я не приду.

Лакей чуть приподнял бровь. Он не нуждался в том, чтобы ему напоминали о его обязанностях. С точки зрения Доббинса мистер Локкарт был молокосос и выскочка, не чета прежнему хозяину, сэру Джорджу Бьюкенену.

Допив чай, Роберт выкурил утреннюю сигару и лишь потом вышел в официальную часть апартаментов, где находились кабинет и приемная.

Двое молодых людей поднялись со стульев, одинаково держа фуражки на согнутом локте. На фуражках алели звездочки, но по выправке, по лицам было видно: это не пролетарии, а бывшие офицеры.

– Чем обязан? – спросил Локкарт. По-русски он говорил хоть и с акцентом, но совершенно свободно, питерские и московские знакомые обычно называли его «Романом Романовичем».

Подождав, когда лакей выйдет, светловолосый улыбнулся:

– Я Шмидхен. Сразу предупреждаю: фамилия ненастоящая.

Второй – темно-русый, серьезный – вовсе не представился, а только сказал:

– Прочтите письмо от капитана Кроми.

Выговор у обоих был нечистый. Латыши, определил Локкарт.

В письме Френсиса, для постороннего глаза совершенно нейтральном, имелся условный знак: буква «i» в подписи «Cromie» была без точки. Это означало чрезвычайную важность.

– Пройдемте в кабинет, господа.

Шмидхен заговорил напористо и четко, по-военному. Фразы были тяжелые и звонкие, будто удары молотка по гвоздю. Гвоздь заколачивался Локкарту прямо в мозг. Возбуждение, растерянность, паника – вот фазы, через которые прошел Роберт за пять или шесть минут энергичного монолога.

Последние месяцы были совершенно сумасшедшими. Груз ответственности, свалившийся на плечи молодого, малоопытного дипломата был огромен, с ним не справился бы и самый маститый ветеран Форин-офиса – потому посол Бьюкенен, старая лиса, и уехал, оставив вместо себя стрелочника. Но никогда еще Большая Политика не обрушивалась на Роберта с такой безжалостной насущностью, как сегодня. От него требовалось решение, последствия которого в любом случае будут историческими. И действие, и бездействие могли быть поставлены главе «специальной миссии» в вину. Неизвестно, что страшнее – действовать и всё погубить или бездействовать и упустить шанс... на что? На спасение мира от ужасной угрозы, как утверждает Рейли? На величие? Но Рейли, может быть, драматизирует. А величие Роберта не манило. Скорее пугало. Футбол, балет и Мура с величием были несовместимы. Оно вообще не совмещалось ни с чем, что Роберту было дорого.

Шмидхен двигался от пункта к пункту. Логика была железной.

Латышские солдаты поддержали большевиков, потому что те обещали всем нациям независимость.

Но большевики отдали Латвию германцам. Там теперь распоряжаются «балтиеш», местные немцы, давние враги латышей.

Германия проигрывает войну. Это значит, что судьбу Европы, в том числе и Латвии будет решать Антанта.

Латышская дивизия – единственное соединение Красной Армии, где сохранилась строгая дисциплина и где бойцы полностью доверяют своим командирам.

Группа командиров, настоящих патриотов, уполномочила их двоих заявить господину Локкарту, что в случае наступления союзников латыши воевать с ними не станут, а если Антанта пообещает Латвии независимость, дивизия готова повернуть оружие против большевиков.

У Роберта пересохло во рту. Речь шла о военном перевороте – притом с гарантированным успехом. Большевистское правительство – заложник своей преторианской гвардии. Если латыши выступят против Совета народных комиссаров, ему конец.

В прежние времена можно было бы отправить зашифрованную телеграмму в Лондон – пусть решают. Но связи нет. Она есть в Петрограде у Кроми, однако тот, видимо, счел, что Локкарту в Москве виднее. Либо не доверяет шифру в таком опасном деле.

Выражением своего лица Роберт владел неплохо. Оно осталось неподвижным.

– Это всё? – спросил Локкарт, когда Шмидхен умолк.

Латыши переглянулись.

– А что, мало? – удивился блондин. В его глазах мелькнула искорка – то ли тревожная, то ли насмешливая. Темноволосый кашлянул, и стало видно, что он волнуется. Неудивительно. Дипломат рисковал высылкой и концом карьеры, эти двое – жизнью.

– Мне нужно подумать. – Роберт поднялся из-за стола. – Встретимся завтра. В шесть часов, в фойе гостиницы «Элит». Это в Петровских линиях, – пояснил он, когда латыши переглянулись. Видимо, они не очень хорошо знали Москву.

В «Элит» можно будет просто не прийти, сказал себе Локкарт, и стало немного спокойней.

В коридоре, уже перед дверью, роковые посетители столкнулись с Марией Игнатьевной. Она сменила свое шелковое утреннее платье на линялое ситцевое, переобулась в старые кожаные галоши, волосы покрыла бабьим платком. В это время Мура всегда ходила на Арбатскую толкучку за свежими цветами, не могла без них, а переодевалась, чтобы не выделяться из серой оборванной толпы – и все равно, конечно, выделялась. Блондин так и уставился на нее своими нахальными глазами, осклабился, хотел что-то сказать, но спутник взял его за локоть и вывел.

– Чем тебя так озаботили эти Бобчинский и Добчинский? – спросила Мура вышедшего из кабинета Роберта. – Какие-то неприятности?

Локкарт удивился. На его памяти Мура впервые так ошибалась в людях. Обычно ее первое впечатление бывало верным.

– Это не Бобчинский и Добчинский. Это очень серьезно.

– Опять политика?

Мария Игнатьевна наморщила нос.

Вечером пришли вызванные по телефону французы – генеральный консул Гренар и военный атташе Лавернь. Американского представителя звать было бесполезно, он прибыл в Москву недавно, в советских обстоятельствах еще не разобрался, всех раздражал своими воспоминаниями о службе в Мексике и считал Ленина русским Панчо Вильей, которого не следует раздражать.

Главными проблемами Локкарта были нехватка опыта и невозможность разделить с кем-нибудь груз непомерной ответственности. Проблемы французов были противоположного свойства: оба считали себя, выражаясь по-русски,

тертыми калачами и ни в чем не могли между собой договориться – каждый претендовал на первенство.

Так вышло и теперь. Лавернь сразу заявил, что сама судьба дает в руки ключ к разрешению русского кризиса – заговорщикам следует не только дать любые обещания, но и оказать всестороннюю помощь. Что решат в Париже и Лондоне – идти на Москву или нет, мы не знаем, они там всё не могут договориться, но если в красной столице произойдет переворот, в России установится цивилизованная власть, которая немедленно разорвет мир с германцами. Восточный фронт снова откроется.

– Или же переворот провалится так же, как эсеровский, мы будем скомпрометированы, и большевики нас расстреляют, – нервно возразил Гренар. – Я предлагаю в любом случае, не дожидаясь заварухи, уехать из Москвы. Дождемся результата coup d'état[5 - Переворот (фр.).] в Вологде и будем иметь дело с победителями. Мы ведь дипломаты, а не диверсанты.

Роберту тоже захотелось в спокойную Вологду. Туда еще зимой эвакуировался основной контингент союзных посольств.

Лавернь с Гренаром долго спорили, один бурливый, другой рассудительный, но Роберту скоро стало ясно, что консолидированной англо-французской позиции не будет. Решать все равно придется в одиночку, на свой страх и риск.

Так и вышло.

– Послушайте, генерал, – в конце концов сказал Гренар, – ну что мы с вами ломаем копья? Мсье Локкарту мы все равно мало чем поможем. Дорогой Робе?р, вы выслушали нас обоих, теперь на вашем месте я бы посоветовался с профессионалами. Вопрос ведь не только политический, но и технический. В отличие от нас, вы имеете в своем распоряжении офицеров разведки. Пусть они определят, насколько солиден латышский комплот. Если вы сочтете, что на эту лошадь можно ставить, Франция окажет вам поддержку – деньгами из нашего чрезвычайного фонда.

Генерал запыхтел, ему жалко было уступать британцам славу победы над большевиками, но собственной агентуры у Лаверня не имелось и финансами он не распоряжался. Единственное, что оставалось – доложить министру о том, как

чертов трус Гренар роняет честь Французской Республики. Но отправить рапорт можно только с курьером через Мурманск. Пока в Париже прочтут, дело уже разрешится.

– Спасибо и на том, – кисло молвил Локкарт.

Офицеров разведки у него было трое. Кромби уклонился от ответственности – просто отфутболил латышей начальнику. В любом случае командер сидит в Петрограде, с ним не посоветуешься. В Москве сейчас только Хилл, но ему двадцать шесть лет. Он храбрец и славный парень, однако обсуждать с ним стратегию бесполезно – капитан привык исполнять приказы.

Черт, поскорей бы вернулся Рейли.

* * *

Лейтенант Сидней Рейли, человек, которого с таким нетерпением дожидался Локкарт, всякий раз, возвращаясь из прежней столицы в новую (хотя еще совсем недавно было наоборот, и «новой столицей» называли Питер), поражался изобилию московской жизни. На привокзальной площади торговали пирожками, конфетами, жареной курятиной, и лица были не восковые, как у голодных обитателей «Северной Коммуны», а нормального августовского цвета – загорелые, у некоторых даже румяные. Объяснялось это, конечно, тем, что отсюда ближе до сытных южных краев. Продотряды пригоняют реквизированный скот, эшелоны подвозят зерно, «мешочники» добираются своим ходом. В России столица всегда живет лучше, чем провинция.

Приезжий остановился у деревянного щита с «Московской правдой», просмотрел заголовки. Это заняло не больше минуты. У Рейли была интересная особенность: он никогда не торопился, обычно выглядел полусонным, но при этом делал всё очень быстро.

Передовица «За гражданскую войну». На заседании городского совета принята резолюция по текущему моменту: вести энергичную гражданскую войну с классовыми врагами трудящихся. Но гражданская война и без резолюции велась энергичнее некуда. Бои на востоке, бои на юге, на севере «дан героический отпор войскам Антанты». Судя по трескучему тону и неупоминанию

географических пунктов красные пятятся, а может быть, и бегут на всех направлениях.

Что еще? Всякие пустяки. На Рогожской заставе у спекулянтов изъята мануфактура, распределена между рабочими михельсоновского завода.

«Не позволим кулакам утаить излишки урожая».

В цирке желающие могут обменять хлебные карточки первой и второй категории на питательное слоновье мясо из расчета один к двум. Должно быть, прославленная слониха Бимбо не вынесла тягот военного коммунизма. А какая была умница. Умела стоять на двух ногах и подкидывала хоботом огромный шар.

Рейли вздохнул. Сентиментальностью он не отличался, но жалел зверей и женщин. К детям был равнодушен, не понимал, что в них умильного, называл «недозрелками», шокируя приличных людей.

В этом человеке вообще было много шокирующего. Он мало заботился о чувствах собеседников – если, конечно, не разговаривал с дамой. С женщинами всегда был внимателен и тактичен. Поэтому и женщины к нему благоволили. Мужчины делились на тех, кто Сиднея совершенно не выносил (таких было большинство), и тех, кто его очень высоко ценил. Все, кто имел для Рейли значение, относились ко второй категории.

Не обнаружив в новостях ничего существенного, лейтенант с внезапной проворностью кинулся к отъезжавшему от остановки трамваю. В вагон было не втиснуться, поэтому Рейли зацепился сзади за железку, ловко подтянулся, отодвинул мальчишку-беспризорника. Тот матерно выругался, Сидней цыкнул: «Заткни хлебало, шкет». Оглянулся через плечо. Никто за трамваем не бежал. Слежки не было. На всякий случай, проехав до угла Докучаева переулка, Рейли спрыгнул и нырнул в подворотню. Агенты Чрезвычайки грамотной слежки организовать не умеют, по сравнению с ними даже лопухи из порт-артурской гарнизонной контрразведки были ухари, не говоря уж об асах Охранного отделения, пасших подозрительного британца в довоенном Петербурге. Но терять навыки и расслабляться нельзя.

Из проходного двора на Спасскую он вышел ленивым, но в то же время удивительно спорым шагом. Если бы кто-нибудь из многочисленных московских

знакомых случайно увидел сейчас мистера Рейли, вряд ли его узнал бы. Подтянутый, благоухающий одеколоном офицер Королевского Лётного Корпуса, часто появлявшийся и в Кремле, и во ВЦИКе, и в Наркомвоенделе, превратился в «гегемона»: заросшее длинной черной щетиной лицо, мятый пиджак, картуз с треснутым козырьком, жухлые сапоги, за плечами брезентовый мешок. Две недели назад, когда стало известно, что в Архангельске вот-вот высадится союзный десант, лейтенант Рейли бесследно растворился в пространстве – перешел на нелегальное положение, иначе его, британского военнослужащего без дипломатического статуса могли арестовать.

На Сухаревской площади «буржуи», мобилизованные по трудовой повинности, мели мостовую. Несколько господ в сюртуках уныло возили по брусчатке метлами, поднимая тучи пыли. Лица тоже пыльные, серые, головы вжаты в плечи. Дама в шляпке, на которой от страусового пера остался только огрызок, морщась, собирала в совок конский навоз. Другая, в пенсне и постной жакетке с белым воротничком, какие носят учительницы, гнулась в три погибели с домашним веником и совком. Следил за работами дежурный с красной повязкой на рукаве, грыз семечки. Он нашел себе развлечение: подождет, пока учительница соберет мусор, потом выплюнет еще шелухи. Орет: «А тут кто мести будет?». Поглядел на остановившегося Сиднея, подмигнул.

– Мы за ними говно подбирали, теперя пускай они покорячатся.

На угловатом, будто высеченном из гранита лице Рейли заходили желваки.

– Вредительствуешь, гнида? Саботируешь уборку территории? – процедил он. – Декрет Моссовета не для тебя писан? Расселся, фон-барон! А ну встать! Я тебя за тунеядство продкарточки лишу! Кто не работает, тот не ест. Чтоб через полчаса всюду чисто было. Вернусь – лично проверю.

Пройдя сотню шагов, обернулся. Дежурный бегал, размахивал руками, что-то вопил. «Буржуи» махали метлами в ускоренном темпе. Заступничество Сиднея их участи не облегчило.

«Перехамил хама, fucking Sir Galahad, – вполголоса обругал себя Рейли. – Нервы ни к черту».

Он вдруг почувствовал усталость. Ночью почти не спал, сидел на полу в душном, переполненном тамбуре, а посередине дороги, в Бологом, всех выгнали из поезда на перрон, проверять. Документы у Сиднея были отличные, но битый час пришлось торчать под морозящим дождиком, одежда отсырела и до сих пор еще полностью не высохла, от нее несло псиной.

Пока не навалилась усталость, собирался после встречи с Хиллом идти в Шереметевский. Сейчас же остро захотелось не праздника и веселья, а покоя и нежности. Решено: на Малую Бронную. Но сначала необходимо заглянуть на конспиративную квартиру, узнать новости. Путь неблизкий, в Замоскворечье, через весь центр. Извозчиков в революционном городе нет, толкаться в трамвае после поездной давки – слуга покорный. Значит, в пешем строю, ать-два.

За три месяца, проведенных в Москве, Рейли в доскональности разработал несколько надежных маршрутов вроде вот этого, от Николаевского вокзала до Сухаревки, но для длинных дистанций все еще пользовался сытинским путеводителем, одолженным в Петрограде. Достал из вещмешка обернутую в газетный лист книжечку, развернул сложенную вчетверо страницу с картой, стал прикидывать: по Сретенке, по бульварам, через Устьинский мост.

Час спустя он был в Татарской слободе, наполовину состоявшей из патриархальных бревенчатых домов с палисадниками. Минут десять приглядывался к окнам одноэтажного особнячка – не шевельнется ли занавеска. Занавеска не шевельнулась, но с крыльца спустилась простоволосая голоногая девка в подоткнутой юбке, начала отжимать половую тряпку. Тогда, успокоенный, Рейли приблизился.

Девка обернулась на чужого, вытерла нос рукавом.

– Чего уставился? Вали своей дорогой.

Присмотрелась. Узнала. Прошептала:

– Oh dear! I'll let him now[6 - О боже! Пойду скажу ему (анг.)].

Побежала в дом.

Эвелин, секретарша Хилла, «залегла на дно» вместе с начальником. Она была по матери русская, языком владела в совершенстве. Маскарад доставлял ей много удовольствия. Джордж жаловался, что даже наедине с ним она отказывается говорить по-английски, с охотой употребляет площадные выражения, смысла которых, кажется, не понимает, и научилась сморкаться двумя пальцами.

Хилл изображал мелкого торговца, Эвелин – его служанку. Капитан, сын кирпичного фабриканта, родился в России, закончил гимназию в Петербурге, но по-русски говорил с легким акцентом. Поэтому документы у него были на имя Георга Бермана, эстляндского немца.

– Костя! – крикнул Джордж, раскрывая объятая, как это сделал бы туземец, встречая приятеля. – Ну наконец-то!

– Не советую, от меня пахнет помойкой, – ответил Рейли по-английски, отстраняясь. Лицедействовать было не перед кем. – Ну и рожа у вас, Хилл.

Капитан тоже перестал бриться две недели назад, но волосы у него росли хуже, чем у Сиднея, и щетина вылезла неровная, клоунски рыжая.

– Вы бы на себя посмотрели, – обиделся Джордж. – Похожи на конокрада.

Умница Эвелин уже несла тазик, горячий самовар – не пить чай, а разбавлять холодную воду.

Пока Рейли мылся и обтирался, а потом приводил себя в более или менее цивилизованный вид, коллега делал ему update по событиям, произошедшим за время отсутствия лейтенанта. Тот ездил на четыре дня в Петроград, передать командеру отчет, но так с Кроми и не встретился – его неуклюже, но неотступно пасли чекистские филеры, причем бравый моряк этого, кажется, не замечал. Пришлось передать депешу через привратника, вместе с припиской о слежке. Впрочем ничего особенного в том, что питерская Чрезвычайка бдит за британским атташе, не было.

В Москве же всё было тихо, Хилл занимался своей обычной работой – готовил диверсионную группу для переброски на Украину. На прошлой неделе из Лондона поступил приказ вывести из строя семафоры на железнодорожных коммуникациях, по которым немцы увозят в фатерлянд зерно и скот. Капитан

обожал такие задания. Он готовился лично возглавить диверсантов. В распоряжении Хилла имелась сеть бывших русских офицеров, отказавшихся признать Брестский мир, – Джордж не мог нахвалиться на этих отважных людей.

– И вот еще что, – сказал он, когда Рейли уже брил щеки. – Вчера вечером был связной от Локкарта. Нам велено прийти на явку, как только вы вернетесь. Triple X.

– Угу, – промычал Сидней.

Код «тройной икс» означал чрезвычайную важность. Тихим радостям Малой Бронной придется подождать.

Он стер пену и превратился во вполне пристойного гражданина с короткой аккуратной эспаньолкой. Открылись глубокие продольные складки, придававшие резкому, чеканному лицу несколько мефистофельский вид.

Из брезентового мешка были извлечены чистая рубашка с галстуком, пиджак, штиблеты. Лейтенант опять преобразился почти до неузнаваемости: из сотрудника петроградского угрозыска товарища Релинского, рабочей косточки, обратился греческим коммерсантом Константином Массино – так он звался в Москве.

Явка находилась в Мерзляковском переулке, на задах Дипломатического клуба, где встречались всё еще остававшиеся в Москве работники дипломатических и торговых миссий, корреспонденты европейских и американских газет, сотрудники международных организаций. Разумеется, прислуга работала на ЧК, подглядывала и подслушивала. Но иногда мистер Локкарт на время исчезал. Он выходил через черный ход, пересекал задний двор, всегда пустой, так что «хвост» привязаться никак не смог бы – и потом выныривал в соседнем переулке, прямо у конспиративной квартиры. После встречи, точно таким же манером, дипломат попадал обратно в клуб. Всё было устроено просто, чисто и надежно.

Эвелин отправилась предупредить Локкарта. У Хилла в доме имелся телефон, за установку которого комиссару Замоскворецкого узла заплатили хорошую взятку – ящик тушенки, но линия британской миссии, разумеется, прослушивалась.

Секретарша позвонила через час из Арбатского почтового отделения.

– Он будет на месте. Просит поторопиться.

Это было беспрецедентно. Обычно разведчики приходили на явку первыми и ждали, когда Локкарт сумеет незаметно выбраться из клуба.

Пожав обоим руку – «Джордж, Сидней» – глава миссии сразу перешел к делу. Он говорил без остановки и уложился в десять минут, следуя всем правилам риторики, которую так прекрасно преподают в британских университетах – преамбула, наррация, формулировка задачи, результирующий пассаж:

– Итак, господа, мне нужно ваше профессиональное мнение: как следует поступить? Участвовать нам в латышском заговоре или последовать совету Гренара? И самое насущное: идти мне на вторую встречу с этими людьми или воздержаться?

Смотрел он при этом на Рейли, но ответил Хилл. Ему, впрочем, и полагалось говорить первым – он был старше чином.

– Не надо нам ввязываться во внутрirosсийские дразги. Нас здесь держат не для того, чтобы мы свергали большевиков, а чтобы мы по мере сил вредили гансам. Мое задание – организация диверсий на оккупированной территории. Сидней прибыл с конкретным поручением – не позволить, чтобы Черноморская эскадра попала в руки к немцам, а после того, как корабли были благополучно затоплены, его дело – собирать информацию о германском направлении русской политики, используя источники и средства, недоступные дипломатическому представителю. Мы люди военные, наш долг – выполнять полученный приказ. Мое мнение: в авантюры не пускаться, на встречу с латышами не ходить.

Капитан искоса поглядел на Рейли – оценил ли тот солидную взвешенность суждения. Выжидательно смотрел на лейтенанта и Локкарт.

Несмотря на скромное звание и подчиненное положение, решающей инстанцией являлся Сидней. Он был намного старше обоих, несравнимо опытнее, а главное – обладал внутренней силой и спокойной уверенностью, которая моментально

превращала его в жоака любой стаи.

- А ваше мнение? - не выдержал затянувшейся паузы Роберт.

- Каким вам видится двадцатый век? - задумчиво произнес Рейли, словно не услышав вопроса.

- Что?

- Он начинается с ужасных потрясений, которых еще не знало человечество. С всемирной бойни, после которой жизнь никогда не будет прежней. А какой она будет? Что нас всех ждет?

Двое остальных переглянулись. Ход мысли Сиднея иногда бывал причудлив.

- Мы победим Германию, Австрию и Турцию. Послевоенное устройство мира и судьбу нового века будет определять Антанта, - сказал Локкарт. - Это очевидно.

- Черта с два. Судьба двадцатого века решается здесь. В России.

- В каком смысле?

- В прямом. Мы присутствуем при рождении дракона, который - если дать ему подрасти - опалит своим огненным дыханием всю планету, разрушит государства, обратит в руины цивилизацию и превратит в рабов целые народы.

Начал Рейли флегматично, даже вяло, но постепенно его голос сделался гулким, хрипловатым и в то же время звенящим, словно надтреснутый колокол, веки стали подергиваться, а глаза налились матовым блеском, оставаясь при этом неподвижными. Они пристально смотрели в пространство, будто видели там нечто завораживающее, страшное.

- Ленин и Троцкий вам кажутся опереточными туземными царьками, не представляющими серьезной опасности для нашей великой империи, которая занимает треть земного шара, так ведь?

– А что, Британия должна бояться большевистского сброда, который не способен совладать даже с собственной страной? – удивился Роберт. – У них нет денег, нет армии, нет государственного аппарата – ничего нет.

– У них есть энергия и есть идея, с помощью которых они подорвут не только нашу рыхлую империю, но и весь мир. Армия и деньги для этого не понадобятся. Большевизм – это эпидемия, Локкарт, смертельно опасная эпидемия. Я сразу это понял, как только закачалось Временное правительство. Потому и напросился ехать в Россию. Но всё оказалось еще страшнее, чем я думал. Дракон растет не по дням, а по часам. Он проглотит эту несчастную страну, но на этом не остановится. Большевизм выплеснется за границы России. Он вызовет ответную реакцию, которая будет не менее катастрофичной. Страх перед большевизмом породит другого монстра – дракона антибольшевизма. Схватка двух этих чудовищ будет сопровождаться зверствами, по сравнению с которыми поля Вердена покажутся детской песочницей...

Это было уже чересчур и отдавало каким-то совершенно небританским кликушеством. Все-таки иногда чувствуется, что Сидней не англичанин, подумал Локкарт. Кажется, он наполовину ирландец, а наполовину русский еврей или что-то в этом роде.

– Что вы предлагаете?

– Если появилась возможность удушить дракона в колыбели, упускать шанс нельзя! История нам этого не простит! Да мы сами потом проклянем себя за малодушие! Во всяком случае я себе этого никогда не прощу. Плевать, что там думают в Лондоне. Они далеко, а мы близко. Значит, ответственность на нас, и решать тоже нам.

Теперь взгляд лейтенанта был устремлен прямо на Роберта, и тот сделал усилие, чтобы не зажмуриться – таким неистовым огнем горели карие глаза говорившего.

Наступила недолгая пауза.

Хиллу было легче – Рейли магнетизировал своими бешеными глазищами не его. Поэтому капитан примирительно сказал:

– Старина, ну что вы изображаете пифию? Черт знает, что случится в будущем. Это зависит от миллиона случайностей, предугадать которые мы не в состоянии. Надо двигаться шаг за шагом, решать проблемы по мере их возникновения. Наша главная проблема сейчас – война с немцами. И она еще не выиграна. Немцы – единственное, что меня занимает, и поверьте, забот у меня более чем достаточно. Угрозой большевизма мы озаботимся, когда справимся с германской угрозой.

Опять помолчали. Рейли – потому что он уже всё сказал. Локкарт – потому что колебался. Филиппика лейтенанта произвела на него впечатление.

– Как бы вы поступили на моем месте? – спросил наконец Роберт – и не у Джорджа, а у Сиднея.

Тот ответил своим обычным, спокойным голосом, будто только что не грохотал металлом и не сверкал глазами. Перепады от хладнокровия к страстности и обратно, словно некое внутреннее реле включало и выключало электрический ток, были еще одной чертой лейтенанта Рейли, притягивавшей людей – в особенности женщин и мужчин женственного устройства, к каковым относился Роберт Брюс Локкарт.

– Прежде всего я проверил бы парней, которые к вам явились. Вряд ли они агенты Чрезвычайки – она на подобные хитрости не способна, но вполне возможно, что это просто мальчишки, и никакой серьезной организации за ними не стоит.

– Как же я это проверю? – занервничал глава миссии.

– Вы – никак. Вместо вас на встречу пойду я. И просвечу их, как рентгеном.

– А если вы сочтете, что Шмидхену и его товарищу можно верить?

– На вашем месте я все равно не стал бы иметь с ними дело напрямую. Заговор может провалиться. Официальный представитель Британии не должен быть скомпрометирован. Предлагаю вот что. Джорджи пусть продолжает заниматься немцами, а я сосредоточусь на русских. Вернее на латышах, – поправился Сидней. – Но при одном условии.

– Каком? – насторожился Локкарт.

– Мне нужна полная свобода. Право действовать по ситуации, принимать решения по собственному усмотрению. Если мне предстоит общаться с руководителями заговора, меня не должны считать посредником. Иначе – если это серьезные люди – они все равно потребуют свести их с моим начальником.

Роберт совершенно успокоился. Разговоры с Рейли всегда на него так действовали.

– Предоставляю вам любые полномочия. Кроме того в вашем распоряжении мой фонд экстренных расходов.

– Тогда всё. До встречи с латышами почти два часа. Идите, я побуду здесь.

Ни руководителю дипломатической миссии, ни капитану не показалось странным, что лейтенант отпускает их, будто монарх, объявляющий о конце аудиенции.

Оба вышли, испытывая облегчение. Хилл – потому что можно было вернуться к привычному, ясному делу, подготовке рейда, Локкарт – потому что хорошо иметь дело с человеком, который всегда знает, как поступить.

Оставшись один, Рейли сел в кресло, откинул голову и уснул, велел себе проснуться ровно через час. У него в мозгу был встроенный будильник – очень полезная штука для человека, ведущего динамичный образ жизни.

* * *

Англичанин так и не появился.

Первые десять минут они ждали собранные, но более или менее спокойные – товарищ Петерс подробно проинструктировал, как себя вести и что говорить при любом повороте беседы. Спрогис шепотом рассказывал анекдоты – так у него проявлялась нервозность. Он и на фронте перед боем всегда балагурил. Буйкис не слушал, мысленно повторял затверженные фразы.

Через двадцать минут умолк и Спрогис, исчерпав запас шуток про тещ и рогоносцев. Его светлые ресницы растерянно помаргивали, глаза шарили по фойе.

У стойки скучал портье. Свободных мест в московских гостиницах не было и быть не могло, гостиницы превратились в общежития. В номерах жили сотрудники перевезенных из Питера учреждений. Портье только выдавал ключи. Согласно революционной моде на сокращения, он теперь назывался «завключпостом». От былых времен остался только стол со свежими газетами. Около него сидел нога на ногу какой-то гражданин, закрытый разворотом «Известий», покачивал клетчатой брючиной.

Когда стрелка на стенных часах дошла до половины седьмого, Буйкис поднялся.

– Пойдем, Янит. (Их обоих звали «Янами»). Локкарт не клюнул...

По Петровской линии шли хмурые. Буйкис сердился на товарища, был уверен, что Спрогис вчера своей развязностью отпугнул англичанина. Выходило, что не справились они с заданием, подвели товарища Петерса. Теперь, наверное, отчислят из ЧК, придется возвращаться в батальон, снова тянуть казарменную лямку, и это в лучшем случае. В канцелярии говорят, что скоро все боеспособные части пошлют на север, воевать с Антантой.

– Товарищ Шмидхен!

Обернулись.

Чернявый мужчина среднего роста, с небольшой бородкой стоял руки в карманах, разглядывал приятелей. Спрогис слегка толкнул локтем, показав глазами на клетчатые брюки. Те самые. Оказывается, Локкарт пришел не сам, а прислал человека.

Настроение у обоих сразу поднялось.

– Допустим, – сказал Спрогис. – А вы-то кто?

– Я – тот, кто будет иметь с вами дело. Или не будет. Мы пока не решили. Зовите меня «Константин Маркович».

По тону, по всей манере было видно: господин серьезный. Пожалуй, посерьезней Локкарта. Может быть, даже какой-то его начальник. Товарищ Петерс и не знал, что у англичан есть кто-то главней Локкарта. Это было очень важное сведение. Приятели так и впились глазами в «Константина Марковича», запоминая приметы. При поступлении в ЧК их научили, как это делается: определять рост с точностью до вершка, классифицировать тип телосложения, цвет волос, форму лица; потом – брови, глаза, нос, линия рта, подбородок, а самое главное – уши, потому что они у всех разные. У этого уши были заметные: хрящеватые, в верхней части слегка отогнутые, будто крылышки. И брови тоже характерные – густые, резко очерченные, вразлет.

– Вы, вероятно, Шмидхен, – обратился чернявый к Спрогису (стало быть, тоже знал приметы – от Локкарта). – А как называть вас? – Это Буйкису. – Мне не нужно знать настоящее имя, но должен же я как-то к вам обращаться.

– Зовите меня Невиенс, – ответил Буйкис. По-латышски это означало «Никто». – А почему вы к нам сразу не подошли? Зачем заставили столько ждать?

– Наблюдал. Проверял, нет ли слежки. Разговаривать будем на ходу. Если я замечу «хвоста» или что-то подозрительное, закашляюсь. Тогда сразу расходимся.

Шли по Петровке быстрым, деловым шагом. Константин Маркович расположился посередине. Поглядывал то влево на одного, то вправо на другого, а им двоим переглядываться было затруднительно.

– В какой служите части? – таков был первый вопрос.

Буйкис ответил, как велел товарищ Петерс:

– В Девятом полку.

Это должно было англичанам понравиться, Девятый полк охранял Кремль.

- Лиепинь состоит в вашей организации?

То, что англичане знают имя нового комполка, всего неделю как назначенного, было неожиданно. Буйкис немножко растерялся. Зато нашелся Спрогис:

- Мы пока не уполномочены раскрывать имена членов организации, но можете не сомневаться, в ней состоят большие люди.

- Среди них есть командиры частей? Это для меня принципиально, - сказал Константин Маркович. - Вторые или третьи лица успешную операцию подобного масштаба осуществить не смогут.

- Конечно есть, - ответил Спрогис. - У нас всё железно.

- Кто именно? Авен? Пулькис? Вайнянис? Риекстынь? Стуцка? Андерсон? Ремер? - и без запинки, не заглядывая ни в какие бумажки, перечислил всех старших командиров Латышской дивизии.

- Не уполномочены раскрывать, - повторил Спрогис. - Вы сами-то кто?

- Об этом я скажу руководителю вашей организации. Лично. Пусть приходит завтра в кафе «Трамбле» на Тверском бульваре. Один. Ровно в полдень, без опозданий. Ждать я не стану.

Сказав это, Константин Маркович остановился как вкопанный и сразу отстал. Когда приятели, пройдя по инерции несколько шагов, обернулись, то увидели спину англичанина, а может и не англичанина, черт его разберет. Разговор был окончен.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Делай свою ставку» (фр.).

2

От «доброго утра» до «спокойной ночи» (фр.).

3

«Ко всему относись легко» (англ.).

4

Рыбак рыбака видит издалека. (Буквально: «Птицы одного оперения слетаются друг к другу».)

5

Переворот (фр.).

О боже! Пойду скажу ему (анг.).

Купить: <https://tellnovel.com/ru/boris-akunin/sobach-ya-smert>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)